

БОРИС ФИЛИППОВ

Николай Клюев

Материалы для биографии

Не железом, а красотой купится русская
радость.

...на память о нашей встрече на омытой
кровью русской земле, с надеждой на ра-
дость всемирную.

Николай Клюев

1928

(Посвящение «Дорогому Панайт Истра-
ти...» на обороте титульного листа
подаренного ему автором экземпляра
«Избы и Поля»)

О нем много писали, он поразил многих и многих самым обликом своим. «Певец темный, с пронзительной силой увета — Микула был кряжист, широкоплеч, с огромной притаенною силой. Он входил тихонько, благолепно, сапоги мягки с подборами, армяк в сборку, косоворотка с серебряной старой пуговицей. Лик широкоскул, скорбно сладок. А глаз не досмотришься — в кустистых бровях глаза с быстрым боковым оглядом. В скобку волосы, масленисты, как у Гоголя, счесаны на-бок. Присмотревшись кажется, что намеренно счесаны, чтобы прикрыть непомерно мудрый лоб. Нагнулся, чтобы достать что-то из-за голенища. Лоб сверкнул таким белым простором, под отпавшими при наклоне космами, что подумалось: ой, достанет он сейчас из-за голенища не иначе, как толстенький маленький томик Иммануила Канта, каким хвастал один доктор философии...» Так писала о нем Ольга Форш.¹ А Георгий Иванов в пресловутых «Петербургских зимах», путая даже имя поэта, называя его «Николаем Васильевичем», повествует: «...приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести.

— Ну, Николай Васильевич, как устроились в Петербурге?

— Слава тебе, Господи, не оставляет Заступница нас грешных. Сыскал клетушку-комнатушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской, за углом, живу...

Я как-то зашел к Клюеву. Клетушка оказалась номером Отель де Франс, с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстукe, и читал Гейне в подлиннике.

— Маракую малость по-басурманскому, — заметил он мой удивленный взгляд. — Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей...

— Да что ж это я, — взволновался он, — дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то — он подмигнул — если не торопишься,

может, пополудничаем вместе. Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился. — Ну, вот и ладно, ну, вот, и чудесно — сейчас обряжусь...

— Зачем же вам переодеваться?

— Что ты, что ты — разве можно? Собаки засмеют. Обожди минутку — я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке: — Ну, вот — так-то лучше!

— Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят.

— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общую, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно...».²

Таких воспоминаний, в которых часто при этом на ложку правды приходится если не бочка, то лохань лжи и преувеличений (как, например, у только что цитированного Георгия Иванова), можно было бы привести немало. Большинство обратило внимание только на личину поэта — и за личиной не заметило лица его. А ведь было что-то недюжинное в этом хитроватом кряжистом олонецком мужике, сказывавшем напевно на «о» — и сказывавшем в разговоре и в переписке не без вычур. Было что-то, пленившее в свое время Александра Блока — и Льва Троцкого, Брюсова — и Мережковских, Гумилева — и Ольгу Форш, Городецкого — и Алексеева-Аскольдова, Вячеслава Иванова — и Андрея Белого, таких все разных, совсем друг с другом не схожих. «Клюев — большое событие в моей осенней жизни», — записывает в дневнике 1911 года Блок.³ «Эта зима принесла любителям поэзии неожиданный и драгоценный подарок. Я говорю о книге почти не печатавшегося до сих пор Н. Клюева. В ней мы встречаемся с уже совершенно окрепшим поэтом, продолжателем традиции пушкинского периода... Пафос поэзии Клюева редкий, исключительный — это пафос нашего»... «До сих пор ни критика, ни публика не знают, как относиться к Николаю Клюеву. Что он — экзотическая птица, странный гротеск, только крестьянин, по удивительной случайности пишущий безукоризненные стихи, или провозвестник новой силы, народной культуры? По выходе его первой

книги 'Сосен перезвон' я говорил второе. 'Братские песни' укрепляют меня в моем мнении»...⁴ Так писал о Клюеве Николай Гумилев. «Солнценосцем», «народным поэтом», услышавшим в наши дни впервые «Мир на земле и в человецех благоволение», как во время оно евангельские пастухи услышали эту ангельскую весть, — именует Клюева Андрей Белый.⁵ «Клюев пришел от величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоятся в эллинской важности и простоте. Клюев народен, потому что в нем уживается ямбический дух Баратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя», — свидетельствует Осип Мандельштам.⁶ «Клюев... овладевал каждым из нас в свое время», — вспоминал в 1926 году Сергей Городецкий.⁷ И, чтобы не испестрять статью именами, именами и еще раз именами, возвратимся опять-таки к Блоку, о взаимоотношениях которого с Клюевым будет дальше сказано немало. 27 ноября 1911 г. Блок записывает в дневнике о том, как он дал подпись на воззвании в защиту М. Бейлиса и еврейского народа от наветов черносотенцев и правительства: «Дважды приходил студент, собирающий подписи на воззвании о ритуальных убийствах (составленном Короленкой). Я подписал. После этого — скребет на душе, тяжелое. Да, Клюев бы подписал, и я подписал — вот последнее».⁸ Для такого поэта *совести*, как Блок, Клюев — в качестве морального мерила в том или ином решении — разве же это не показательно? И разве напоминает здесь Клюев эдакого ряженого «мужичка-травести», о котором повествует Георгий Иванов — и с его легкой руки — Вл. Ходасевич: «...Вот именно в этих клетушках-комнатушках французских ресторанов и вырабатывался тогда городецко-клюевский *style gusse*, не то православие, не то хлыстовство, не то революция, не то черносотенство. ... Но Клюев, хоть и 'мараковал по-басурманскому', был все же человек деревенский. Он, разумеется, знал, что таких мужичков, каким рядил его Городецкий, в действительности не бывает, но барину не перечил: пушай забавляется. А сам между тем, не то чтобы вовсе тишком да молчком, а эдак полусловцами да песенками, поддакивая и подмигивая и вправо и влево, и черносотенцу Городецкому, и эсерам, и членам религиозно-философского общества, и хлыстовским каким-то юношам, — выжидал. Чего?»⁹

Это было время великих ожиданий. Это было время поисков путей и целей. Это было время великой пестроты и нарождающихся сызнова поисков своего национального, исконного, корневого.

—«Откуля, доброхот?» — С Владимира-Залесска...
«Сгорим, о братия, телес не посрамим!»...
Махорочная гарь, из ситца занавеска
И оспа полуслов: «валета скозырим!»

Сквозь сито исчерненного заводской гарью дождя, сквозь кровь и гам революции, сквозь пошлятину засиженного мухами привычно-тусклого мировосприятия прорывается глубинная лепота, красота словообраза, мыслеформы, и д е и . Идеи в смысле платоновском, а не обывательски-интеллигентском. Идеи, облеченной в такую яркую, чеканную, своеобразную и воистину народную форму, что диву даешься, как мог уместить поэт все это узорочье мысли и образов, слова и мелоса в скупые строки своих стихов и поэм. И удивляешься той поистине титанической работе поэта, что смог от беспомощных, подражающих сквернейшим образчикам средне-интеллигентской поэзии стихов подняться на такие кряжи. И все это великолепиие, вся эта глубина усмотрены в — на первый взгляд — самой разобыденнейшей жизни, самом сером быту северной мужицкой избы, даже в «городских предбольничных березах», хотя и «заболевших корью и гангреной», но все еще трепетно-прекрасных...

Ангел простых человеческих дел
В избу мою жаворонком влетел,
Заулыбалися печь и скамья,
Булькнула звонко гусыня-бадьа...
...Ангел простых человеческих дел
Бабке за прялку венчик надел,
Миром помазал дверей косяки...

И дело не в том, что словарь, образы, даже в н е ш н и е , поверхностно видимые идеи — мужичьи, староверские, хлыстовские. Если бы это было только так, то Клюев был бы лишь модернизированным и более даровитым вторым изда-

нием Кольцова. Нет, за резными ставнями и матицами уютчивого быта кондовой избы, за сиринами и китоврасами стихотворных титл таится общечеловеческое и поддонное — та истина, для коей «несть еллин, ни иудей»: правда поисков Абсолютного Единства и Всецелой Полноты и лепоты жизни — Плиромы, жизни вечной, жизни в Боге, преодолевшей смертную истому мигов. Отшелушится и умрет плакатный Ключев «Песни Солнценосца» и взвизгов революционного хмеля, забудется виршеплет вымученных од колхозу и партии, написанных «страха ради коммунейска» (и поэтому и написанных-то по-детски неумело). И пребудет с нами перезвон сосен и избяные псалмы Матери-Субботе, причеты «Погорельщины» — не только теперь всероссийской, а пожалуй, и всесветной, — и каноны ласковой Христовой Марфе-Заботнице...

«Яко сень преходит человек и яко листвие падают дни человеци», — писал в петровские времена творец «Поморских ответов» Андрей Денисов. Сделаем же попытку, на основании разноречивых воспоминаний, обрывков автобиографических высказываний и ставших нам полностью или частично известных писем поэта, набросать бледный очерк своеобразной личности и незаурядной судьбы большого песнотворца Николая Ключева.

«Мы же речем: потеряли новолюбцы существо Божие испадением от Истиннаго Господа, Святаго и Животворящаго Духа. По Дионисию: коли уж истинны испали, тут и сущаго отверглись. Бог же от Существа Своего испасти не может, а еже не быти, несть того в нем: присносущен Истинный Бог Наш...»¹⁰

Старый список жития Аввакумова, в тяжелом кожаном переплете, с киноварными зачалами, с замусоленными от чтения многих поколений краями листов. В углу вековой избы — образа старых дониконовских писем: Спас-Ярое-Око грозит неслуху, путедарная Мати Одигитрия на путь наставляет юношу. Быт устоялый, крепкодухий и душный, — даром что дед был одно время поводом медведя и сказителем старин и стихов духовных, «водил он медведей по ярмаркам, на сопели играл, а косматый умник под сопель шином* хо-

* Шин — род деревенской кадрили. См. словарь Даля.

дил. Подручным деду был Федор Журавль — мужик, почитай, сажень ростом: тот в барабан бил и журавля представлял. Ярманки в Белозерске, в Кирилловой стороне, до двухсот целковых деду за год приносили». ¹¹ Жил дед более, чем зажиточно, ходить по праздникам любил нарядно и изузоренно, дочерей своих, поэтовых теток, за хороших, крепких мужиков повыдавал. Вышел в те поры указ: медведей-плясунов представить в уездные управы «на предмет изничтожения». Но застрелил дед медведя сам, своей рукою — чужому не дал, — а плакал горючими слезьми, как в глаза доверчивые зверю глядел. ¹² «Долго еще висела шкура кормильца на стене в дедовой повалуше, пока время не стерло ее в прах». ¹³

Отец — николаевский солдат, ¹⁴ книгочий, умник, большой умелец — золотые руки. Хозяин дотошный, добрый. Есенин подчеркивал всегда, что они-де с Клюевым происходят «не из рядового крестьянства, чего так хотелось бы некоторым ... критикам, а из верхнего, умудренного книжностью слоя. Дед и отец Клюева... были начетчиками». ¹⁵ Люди умудренные и не безденежные, верные древнему благочестию и дедовой дубовой укладке. И у самого Николая Алексеевича не раз в стихах это домостроительство и скопидомство: не в смысле скупердяйства, а в изначальном понимании: с к о п и - д о м :

В пестрой укладке повойник и бусы
Свадьбою грезят: «годов пятьдесят
Бог насчитал, как жених черноусый
Выменял нас — молодухе в наряд»...

Померла молодуха, почитай, бабушкой или прабабкой, а ее добро-приданое достанется внуке и правнуке: укладка — святохозяйственная память семьи. И так во всем: и в хозяйственном инвентаре, и со скотом, и с самой избой. А надо всем — хозяйский глаз рачительного мужичьего Бога. И чтобы лучше и сподручней Отцу и Царю Небесному уследить за земным мужичьим добром — над каждой отраслью избяного быта, над каждым предметом — свои покровители святые: Никола, Илья-громовник, Авдотья Подмочи-Порог, Власий да Савватий — скотьи заступники и хранители, Борис-

Глеб, что посылают хлеб, пчелиный врачеватель и заботник Медост (Модест), Дева-Пятенка Параскева...

Дядя по матери, слышать, был самосожженец. Мать, одаренная женщина, плачя-вопленница и сказительница, тоже книгочя, первая научившая поэта грамоте, родом из Прионежья (отец — со Свити-реки, ныне в Вологодском крае). Числилась мать православной, но, видимо, склонялась к хлыстовству.¹⁶

Глубоко-поэтическая христовщина, в просторечии — хлыстовщина, мистическое российско-крестьянское претворение гностицизма и позднейшего иллюминатства — «духовного христианства», — вот та среда, в которой вырастает будущий поэт, родившийся в 1887 году на реке Андоме, в глухой лесной деревушке неподалеку от древнего города Вытегры. 500 верст до железной дороги, почти нетронутый древненовгородский быт, соседский с корелой и лопью, такой же лесной и кряжистой: «кореляк, што светляк, где буерак, там его барак», — добродушно шутейничают олонецкие русские мужики, привыкшие смолоду к иноязычным соседям. Интернациональный маскарадный кортеж в стихах позднего Клюева истоки свои коренит в северных лесах и озерах, населенных всяческим людом: русскими и корелой, весью (веспами) и лопью, финнами-тавастами и даже в каком-то числе и скандинавами: шведами и норвежцами.

«До соловецкого страстного сиденья восходит древо мое, до палеостровских самосожженцев, до выговских неколебимых столпов красоты народной», — рассказывает поэт.¹⁷ Впечатления детства: плачи-причиты матери-вопленницы:

Воску ярова свечи да догораются,
Херувимский стихи да допеваются;
Спаси Господи попов отцов духовных,
Спаси Господи служителей церковных,
Што Божии оны церкви отмыкали
И Господни оны книги-то читали;
Порастроньтесь-ко народ да люди добрыи,
Мне — придвинуться к колоде белодубовой,
Мне — припасть было к родитель своей матушке...¹⁸

Заонежье, Вытегра, Каргопольщина — это край былевых сказителей, плачей-воплениц, олонецких певунов и сказочников — край богатый и искусными строителями и резчиками по дереву (Кижь, к слову сказать), и мастерами слова русского. И Клюев учится и по письменам лесного древесного искусства, по памятникам исконной русской резьбы, русского деревянного зодчества, по русским иконам-поэмам северных писмен, — и «в избе по огненным письмам Аввакума-Протопопа, по Роману Сладкопевцу».¹⁹ А в «огненных письмах» Аввакумовых: «Дние наши не радости, но плача суть. Вспомяни, — егда ты родилася, не взыграла, но заплакала, от утробы ишед матери. И всякой младенец тако творит, прознаменуя плачевное сие житие: яко дние плача суть, а не праздника»...²⁰ Ибо дни наши — дни сораспятия нашего с Иисусом Христом, ибо опять распинают Спаса Нашего — теперь никониане: «...Моисей великий, он, иже море разделявый, иже фараона потопивый, духом прорицая будущая, 'узрите живот ваш, висящ пред очима вашима', тогда рече. И се день исполнися Господу Славы, на кресте висящу. Тогда плотски — ныне духовне, тогда Анна и Каиафа — ныне с товарищи Никон. Ужаснися, небо и земле основание потряси, яко иже в начале Сотворивый — посреде вселенныя на кресте плотию стражет, — иже морю положивый предел песок — гвоздьми пригвождается, иже Адама создавый — от рабов осуждается, от рабов неблагодарных, от рабов неверных, от рабов законопреступных...»²¹ Суров старый огнепальный протопоп, а вот голуби-христы ласковы — всякая душа человека может, путем духовного возрастания, приобщиться к Божественному началу, обожится вконец: и верховное духовное свершение — становление Христом — для мужчин, и Богоматерью — для женщин. И тут тоже по Божию велению, по нашему молению. И тут — не без влияния на умы народа огненных словес Аввакумовых о новом распятии Иисуса — и о нашем сораспятии с ним. А раз — наше сораспятие, то и о нашем же тутошнем и теперешнем воскресении во плоти можно полагать — и верить в него. Вот и сказывают хлысты о сошествии нового — их собственного — Христа, первого их Христа — Сулова — на землю, о его троекратном распятии и двукратном воскресении, распятии на стене у Спасских ворот Кремля москов-

ского при паре Алексее Михайловиче. И псалмы распевают о том:

Первое сошествие Бога было в Риме и Иерусалиме.
И сияла вера много лет,
И стала вера отпадать,
И отпадала триста лет.
И из тех людей были люди умные,
И съединясь между собой тесно,
Послали людей на святое место.
И пришли те люди,
Поднимать стали руки на небо,
Сзывать Бога с неба на землю:
«Господи, Господи, явися нам, Господи,
В кресте или в образе,
Было бы чему молиться нам и верити».
И бысть им глас из-за облака:
«Послушайте, верные мои!
Сойду Я к вам Бог с неба на землю;
Изберу Я плоть пречистую и облечусь в нее;
Буду Я по плоти человек, а по духу Бог;
Приму Я распятый крест,
В рученьки и ноженьки — гвоздильницы железныя;
Пролью Я слезы горючия,
Проточу кровь пречистую.
Станите ли ко Мне в темницу приходить
И узы с Меня снимать,
Десятую денежку подавать?»²²

Любопытно и некое гностико-демоническое, люциферинское начало в этом христовском о б о ж е н и и : Христос, вернее, х р и с т ы , ниспосылаются народам по их молению и прошению в виде падшей звезды. Так, в «Книге жизни» (автобиографии) одного из последних знаменитых христов, крестьянина города Боброва Воронежской губернии Василия Семеновича Лубкова (конец XIX века), «Сына Вольного Эфира», говорится: «Первое зачало книги жизни Христа Бога... Слушай Народ говорит вам Христос устами своими и храни всякое слово книги сей оно годится тебе, оно меч твой ни змей ни дух поднебесный не победит тебя. Если на

век сохранишь в сердце и душе своей слово мое. Да так говорит сам искупитель народу своему мое появление на земле ничего не изменило, природа как была так осталась ей, но вы в духе должны уразуметь все, чем я буду повествовать вам, мое пришествие на землю было подобно падшей звезде, которой имя было полын горький...»²³

И враждебны, но и крайне близки, порождены христами-хлыстами, другие народные мистики — скопцы: голубино-ласковы, особенно внешнюю телесную «лепость» (пол свой) утрачивая: скопчество ускоряет-де путь к совершенству: все станут христами да богоматерями. Недаром поэт напишет впоследствии:

О, скопчество — венец, золотоголовый град,
Где ангелы пятой мнут плоти виноград...

И прощаясь с естеством своим, поют христы-скопцы нетленной красы плачи-причети, со всей мирской лепотой прощаясь: «...Прости небо, прости земля, прости солнце, прости луна, простите озера, реки и горы, простите все стихии земные»... Утрачивая плотскую лепость-красу, прилепляясь душой, девственной и кроткой, к самому Царю Небесному, житие свое уподобляют скопцы (и христы-хлысты) спасшимся на корабле среди моря бурного житейского.²⁴ Отсюда и название общин христовщины (и скопческих) — ковчег, к о р а б л ь . Отсюда и духовные стихи о корабле и плавании его по бурливым водным пустыням страстей земных:

По синему морю корабль всплывает,
С дорогим корабль товаром, цены ему нету;
Терпит горя корабль много, среди здесь моря
Пристанища ему нету, везде его гонят,
Налетали злые духи, на них черны враны;
Стал кораблик восшататься, верный колебаться,
На Иусову надежду стал он колебаться...²⁵

Чтит клюевская семья и «батюшку», читает «страды» его и послания — послания самого основоположника русского скопчества — безграмотного мужика и прозорливца, мученика и праведника Кондратия Селиванова: «И я ходил на ко-

локольною. И во все колокола звонил, и всех детушек манил, и в трубу трубил: 'Подите, мои детушки, ко мне на корабль, и я буду всем рад'»...²⁶ Читают о «страдах» батюшки Селиванова, как к Павлу императору его приводили, как в застенках терзали, как бежал он от солдат, от пастырей ложных, — и плачут, читаючи. «О, любезные детушки, как можно старайтесь и назад не озирайтесь; а хотя на коленках, да ползите, и у Бога помощи себе день и ночь просите. Ибо в прежние времена до тридцати лет Богу служили, а благодатию себя основали, да пред последним концом от Бога отставали»...²⁷ Бежал батюшка Кондратий, прятался голодный по десяти суток во ржи, «отчего очень утомившись — лег и заснул; а когда проснулся, то увидел, что возле... лежит волк и на (него) глядит. Но сказал ему (волку): 'Поди в свое место'. И он послушался и пошел».²⁸

А маленький Клюев глядит при этом чтении на шкуру медвежью, того Михайла Потапыча, что дед его водил по городам, — и мнится ему: и дед так зверям повелевал... А в стихирах скопческих поют и про второе пришествие батюшки-христа Селиванова — на Страшный Суд над человеки:

...Тогда суд будет и решение.
Сядешь ты, батюшка,
На золотой престол,
Возьмешь книгу — свое Евангелие,
И засудишь, свет, судом страшным,
И затрубишь трубою небесною,
Со великою своею славою.
Придут верные твои детушки
К тебе — свету — со исправою,
А уж грешные все останутся...²⁹

И если для староверов, по завету Аввакумову, дни наши — не радование, а «плача суть», то и скопцы, и — в особицу — хлысты учат, что и радения их — радование: «'Можно радоваться', 'в Кругу Божиим радость', 'Бог не запрещает радоваться'», — рассказывал судебному следователю и медицинскому эксперту глава Корабля Василий Дирютин: «'Накалывание' Св. Духа — это все равно, что Сошествие Св. Духа. Мы поем 'Христос Воскресе', потому что 'Христос всегда умирает и воскресает в человеке'».³⁰ И в семье Клюева ста-

1305920

роверческая суровость и хлыстовское радование все время борятся друг с другом. Несомненно отразилась на поэте и явная эротическая одержимость хлыстов. Хорошо известно, что радения заканчиваются чаще всего повальным общением братьев и сестер Корабля, не взирая даже на самые тесные кровные отношения. А в одной «братской песне»: «песенке, как Сын Божий сеит свое семя Божественное в верных человека» (XVIII век) — хлысты поют:

На сырой земле да по полю, по чистому полю,
По широкому раздолью,
Тут гуляет Государь наш надежда,
Государь Свет Сын Божий на ручушках носит чашу золотую,
А и в той было чаше Божие семя,
Был крупитчатой сахар.
Государь Свет рассеивает по всей подселенной свое Божие семя,
Да Сам Сударь глаголет:
Разродися мое семя в моих верных человеках,
Разродися Божие дело в моих верных избранных,
Уродися мой белой сахар белою ярою пшеницей,
Рости моя пшеница от земли и до неба,
И от престола Господня до Бога Саваофа,
До Сына Божия света,
До Свята Духа блаженна...³¹

Ходит Никола уже две зимы в сельскую школу, да не больно душа лежит к ней. Смолоду наделен он песенным даром, но борется с искушением: прелесь. С материнского полуразрешения, отроком еще, идет в монастырь Соловецкий. Только формально, для виду, православные, родители Клюева, старoverы с уклоном в хлыстовство, все-таки чтут Соловки: ведь сколько лет оборонялись монахи соловецкие от полчища царева, посланного никонианами — оружием и огнем истребить старую веру в монастыре... «И прииде ми помысл взыскати пути спасения и идох к Всемилостивому Спасу во святую обитель Соловецкую, ко преподобным отцам нашим Зосиму и Савватию», — вспоминаются и слова старца Епифания.³²

Не просто монах Николай: мало ему послуха монастырского — двадцатифунтовые вериги носит, кается, молится. Но мятежный дух и песенный дар гонят его с островов Со-

ловецких. Очевидно, — это явствует и из стихов его, — увлекается он и Божьими людьми — бегунами. «Не в щепоти состоит дело, — учат последователи Евфимия, основоположника страннической (бегунской) секты. — Печать Антихриста, сияющая на слугах антихристовых, не значит щепоть или крыж, но — ж и т и е, согласное с мыслью Антихриста, — но подчинение ему, как Христу»...³³ Вот и пришли последние времена, да и не вчера, а уж давно они наступили на Белой Руси: «От лета 7220 (1712), егда первым императором счинися опись народная, тогда он нача повсюду искать беглых... оных бегствующих мира хватати, — ...его ради и подвиг спасаемым отголе претерпевый до конца спасется»...³⁴ Самосожженческие костры — пламенники веры народной; горючая слеза покаяния и бездонная глубь молитвы: авось минет Русь и народ Чаша Гнева праведного Господня... Никониане так не молятся: их мир в плену держит. Недаром в народе убеждены, что только древнее благочестие — подлинное христианство: «При входе в крестьянские избы, я был часто встречаем словами: 'мы не христиане'. На вопрос: 'что же вы, нехристи?' отвечали: — 'как же, мы во Христа веруем, но мы по Ц е р к в и, люди мирские, суетные... Христиане те, что по старой вере; они молятся не по-нашему; а нам н е к о г д а'...»³⁵ Так свидетельствует в первой половине прошлого века один обследователь раскола. Но и по сей час дело обстоит почти что так же. И странники-бегуны (кстати, близко связанные с христовщиной), и хлысты, и староверы отрицают начисто Православную Церковь в ее теперешнем состоянии: «Христианские архиереи, вместо престола Христова, установили престол сатаны, на котором присутствует Антихрист..., т. е. гордый дух, противник Божий», — так преувеличенно мрачно рисует православие «Зерцало для духовного внутреннего человека — старообрядческая рукопись первой половины прошлого века (или более ранняя).³⁶ А в послании седьмом «Самого Господа Иисуса Христа» — хлыста-крестьянина Потапкина (самый конец прошлого века) — проклинается и царство-государство, подменное ныне, не русское, не христово, но антихристово: «Осмелился на себя принять имя и слова, что я — царь, да еще и белай, да еще и царь, сказал, Божий, да и царь всей Рассеи. Ах ты, дух твой змеиный, ты ж во всем змеином предании

предстоишь, ты ж проклят от Содержителя Творца Бога Живаго, и меня, сына Его, и Духа Святаго. А ты пишешься, что я — царь Божий, у тебя ж не одного слова Божьяго нет, но не то что у тебя, но и у во всех твоих...»³⁷ Поэтому бегуны, а по часту и хлысты, всячески избегают исполнения государственных повинностей, особенно же — уклоняются от воинской службы, как от служения воинству антихристову. Но, если не обращать внимания на еретические секты и преувеличения старообрядческих начетчиков, в староверстве было много и правоты, и поэзии, и крепости. Да и в самом православии начинали — к концу прошлого века уже — все больше и больше звучать голоса в пользу правоты ревнителей древнего благочестия. И раньше даже: уже П. И. Мельников (А. Печерский) в своей «Записке о русском расколе», 1857, свидетельствовал, что исправление Никоном богослужебных книг было поспешным, часто малограмотным, и было вызвано только тщеславием Никона, желавшего блеснуть знанием греческого языка и грамматики.³⁸ В XX веке некоторые профессора Московской и Петербургской духовных академий открыто заговорили о том, что в давней церковной распре правда была на стороне противников Никона. Этому пересмотру позиций способствовало и все возрастающее увлечение древней русской иконой, древним русским зодчеством, старинной народной резьбой, старым литьем. А вот свидетельство одного из крупнейших деятелей православной церкви и российского государства, — разговор его с В. В. Розановым, записанный последним в статье «Поездка к хлыстам» (1904-1905): «Да, они (старообрядцы и раскольники, БФ) правы... Там филологически и исторически, — не спорю... Но в них живет сатана и их надо распять. Я сам наблюдал старообрядца, входившего в алтарь в ихней моленной: шел, понуря очи, с таким благочестивым, постным лицом, точно в нем душа кончается. Он меня не видел, а я стоял так, что мне было видно его, когда он скрылся от глаз народа за алтарную стену. Тут он вдруг щелкнул пальцами и подпрыгнул. Масленица после поста. Пост они держат на виду у нас, православных, а в душе у них масленица. Масленица оттого, что Никон был, конечно, невежда, а филологически и всячески по истории — они правы: и вот они и стоят перед нами с истинно каинскою жаж-

дою убить, задушить. ...И за это их проклятое чувство я хотел бы их сжечь».³⁹

Крайний эгоцентризм и гордыня свойственны расколу. Жажда свободы, творческой и общественно-политической — вплоть до анархизма. И, вместе с тем, необычайная сплоченность старообрядческих общин, кораблей хлыстов и скопцов, потаенных сборищ бегунов. И большая хозяйственная сметка, крепкая солидарность, добротное хозяйствование, хороший зажиток. Раскольники и хлысты — богатые мужики, мещане, купцы-миллионщики, крупные промышленники.

Эгоцентризм — и соборность, ласковость — и суровость, крепость веры — и повышенный эротизм, доходящий до вакхического экстаза, песнотворство и иконное искусство — и отвержение всего внешнего и мирского; наконец, православие — и хлыстовство с некой склонностью к демонизму; русский исконный и крепкого настою национализм — и склонность к всемирному общению и братству народов — вот тот пестрый, противоречивый мир идей и бытовых навыков и обыков, образов и догм, сексуальных устремлений (и уклонений) и аскетизма, — мир, в котором вырос и воспитался юный Ключев.

И в старообрядческих скитах, и у «скрытников» побывал он. Но душа все рвалась к песне, дух влекся к голубиной чистоте христовства. Слава юного песнотворца далеке бежит по городам и весям, — и пятнадцатилетний Никола избирается «Давидом Христова корабля», — присяжным слагателем духовных песен:

Как у нас ли, други, ныне радость;
Отошли от нас болезни, смерть и старость.
Стали плотью мы заката жарнее,
Поднебесных облак-туч вольнее.
Разделяют с нами брашна серафимы,
Осеняют нас крылами легче дыма,
Сотворяют с нами знамение-чудо,
Возлагают наши душеньки на блюдо...

Многие из «братских песен» Ключева — прямо перекликаются с хлыстовскими песнопениями:

Обращает внимание энергия и стремительность клюевской «Братской песни». Это и понятно: годы ее написания — годы революционного подъема — около 1905 года. Раскольники вообще были бродильным, революционным элементом в России: они принимали самое деятельное участие и в движении Разина, и в Пугачевщине. П. И. Мельников (А. Печерский), классифицируя толки раскольников в 1857 году «по степени вредности для государства», пишет: «Ко второму разряду принадлежат раскольники, признающие, что русское правительство со времен царя Алексея Михайловича стало богоборным, и полагающие будто антихрист царствует в России видимо, олицетворяясь в верховной власти, и что правительство, составляющее сонмище слуг антихриста, правя народом, влечет его в сети дьявола. Сюда относятся... Сопелковское согласие или бегуны».⁴² Мы видели, как писал о русском царе хлыстовский христос Потапкин. А Клюев, как раз в эти же годы, соприкасается и с деятелями революционного движения. Оставаясь Давидом хлыстовского корабля и доверенным лицом бегунов, он примыкает, по глухим сведениям, к революционным кружкам. «За свои религиозные и отчасти политические убеждения ему пришлось дважды поплатиться тюрьмой. Имя Клюева весьма популярно среди 'взыскующих Града', особенно на севере. За несколько десятков верст приезжали к нему в деревню, чтобы списать 'Скрытый стих' или 'Беседный наигрыш'; какие-нибудь самарские хлысты целыми сотнями выписывали себе стихи Клюева», — рассказывает П. Сакулин.⁴³ «Встретились на 'Батыевой тропе' и солдатчина, и тюрьма (кажется, дважды), — пишет уже в последние годы Вл. Орлов. — В январе 1906 г. Клюев был арестован в Вытегре. При обыске у него нашли 'Капитал' Маркса и собственные крамольные сочинения. Были установлены связь его с местными политическими кружками, участие в нелегальных сходках. После пятимесячной отсидки в Вытегре Клюева перевели в петрозаводскую тюрьму. Известно, что в его судьбе приняли участие члены Петрозаводского комитета РСДРП».⁴⁴ В эти же годы Клюев долго проживает среди хлыстов Рязанской губернии. Об этом он позже упомянет в письме Сергею Есенину. Около 1906-1907 года Клюев был послан хлыстами заведывать их «явочной» конспиративной квартирой в Баку. Есть основание предполагать, что

«бегуны», хлысты и «голуби»-скопцы имели постоянные и деятельные сношения с Ираном и Индией. Хорошо знавший Ключева Иванов-Разумник пишет, что эта бакинская хлыстовская «конспиративная квартира» служила «явочным местом для посетителей из секты 'бегунов', державших постоянную 'эстафетную связь' между хлыстами олонецких и архангельских северных лесов и разными мистическими сектами...Индии... Все это похоже на сказку — и в то же время это доподлинная быль, о которой Ключев рассказывал интереснейшие вещи (далеко не всем). ...Он пробыл в Баку несколько лет...»⁴⁵ Есть глухие указания на то, что сам Ключев если и не бывал в Иране, то сталкивался в Баку, а, может и Туркестане с мусульманами-суффиями и с индусами-огнепоклонниками. Эти годы Ключев не сидел на одном месте: то в Баку, то у хлыстов Рязанской губернии, то у себя в олонецких городах и всяях... Все эти годы Ключев чрезвычайно много читал, много и настойчиво учился. И, очевидно, много писал стихов.

Первые опубликованные Ключевым стихи, насколько нам удалось установить, появились в печати в 1904 году, когда поэту было всего 17 лет. Они были напечатаны во втором издании захудалого петербургского альманаха «Новые Поэты», изданного Н. Ивановым в 1904 году тиражом в 1.000 экз. В 1905 году, в сборничках, издаваемых «Народным Кружком» поэтов-самоучек, сборничках в 16 страничек каждый («Волны», «Прибой»), выпускаемых во взбудораженной революцией Москве, также печатаются стихи Ключева. Наконец, в 1907 году стихи Ключева попадают в журнал «Трудовой Путь», правда, даже этот третьесортный журнал вначале опубликовал стихи поэта не под его именем, а под прозрачным псевдонимом «Крестьянин Николай Олонецкий». Все эти ранние стихи чрезвычайно еще примитивны, в них с трудом угадывается будущий большой поэт. Это — годы ученья, годы овладения техникой письма. И уже в следующем — 1908 — году два стихотворения Ключева публикует такой изысканный журнал, как московское «Золотое Руно»...

В 1907 году начинается переписка Ключева с Блоком. В 1907 году, повидимому, в первых числах октября, Ключев прислал Блоку письмо, начинающееся словами:

«Я, крестьянин Николай Ключев, обращаюсь к Вам с

просьбой — прочесть мои стихотворения, и если они годны для печати, поместить их в какой-нибудь журнал»...⁴⁶

И дальше Клюев пишет:

«Мы, я и мои товарищи, читаем Ваши стихи... Нам они очень нравятся. Прямо-таки удивление. Читая, чувствуешь, как душа становится вольной, как океан, как волны, как звезды, как пенный след крылатых кораблей. И жадется чуда прекрасного, как свобода, и грозного, как Страшный Суд... Я человек малоученый — так понимаю Вас, — и рад и счастлив возможности передать Вам свое чувствование».⁴⁷

Речь идет тут о сборнике Блока «Нечаянная Радость», и Клюев свою первую книгу — «Сосен перезвон» так и посвятил — Александру Блоку — Нечаянной Радости. «За мое отсутствие получили... очень трогательное письмо от крестьянина Олонечкой губернии», — пишет Блок матери 9 октября 1907 года.⁴⁸

К письму были приложены два стихотворения: «Горниста смолк рожок... Угрюмые солдаты» и «Вот и лето прошло; пуст заброшенный сад».⁴⁹ Эти стихи, неразысканные нами, были помещены Блоком в одном из журналов,⁵⁰ Блок ответил Клюеву, и так завязалась достаточно оживленная многолетняя переписка, продолжавшаяся до 1915 или 1916 года.⁵¹ Ответные письма Блока, к сожалению, не сохранились⁵² — они и не могли сохраниться, так как все рукописи, вся переписка Клюева погибла в следственных делах ГПУ-НКВД... Блок, несомненно, способствовал опубликованию стихов Клюева в журналах, не только в «Трудовом Пути», но и в «Золотом Руне».⁵³

В эти годы Блок особенно сильно, трагически переживал тот разрыв между интеллигенцией и народом, культурой и Богом, религией и историей, стихией и творческой свободой, который всегда составлял пафос и муку большой русской литературы. Уже задолго до революции 1905 года лучшие творческие умы русской интеллигенции начали все больше и больше отшатываться от шаблонного материалистического и социалистического мировосприятия, насквозь догматического, консервативного и тиранического. Революция 1905 года ускорила этот процесс, процесс «крушения многообещавшего общественного движения, руководимого интеллигентским сознанием» (С. Л. Франк.)⁵⁴ «Русская революция

(1905 г., БФ) была интеллигентской, — вторит Франку С. Н. Булгаков. — Духовное руководство в ней принадлежало интеллигенции, с ее мировоззрением, навыками, вкусами, социальными замашками». ⁵⁵ «Поистине, историк не сделал бы ошибки, если бы стал изучать жизнь русского общества по двум отдельным линиям — быта и мысли, ибо между ними не было ничего общего», — подтверждает ту же мысль об отрыве «мозга страны» от ее плоти М. О. Гершензон. ⁵⁶ И у самого Блока: «...печалуются о народе; ходят в народ, исполняются надеждами и отчаиваются; наконец, погибают, идут на казнь и на голодную смерть за народное дело. Может быть, наконец, поняли даже душу народную; но как поняли? Не значит ли понять всё и полюбить всё — даже враждебное, даже то, что требует отречения от самого дорогого для себя, — не значит ли это ничего не понять и ничего не полюбить? ...Среди десятка миллионов царствуют как будто сон и тишина. Но и над станом Дмитрия Донского стояла тишина... Над русским станом полыхала далекая и зловещая зарница. Есть между двумя станами — между народом и интеллигенцией — некая черта, на которой сходятся и сговариваются те и другие. Такой соединительной черты не было между русскими и татарами, между двумя станами, явно враждебными; но как тонка эта нынешняя черта — между станами, враждебными тайно!» ⁵⁷

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

«Идейной формой русской интеллигенции является ее отчужденность, ее отчужденность от государства и враждебность ему» (П. Б. Струве.) ⁵⁸

Мы, сам друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад...

«Не раз уже сотрясала землю подземная лихорадка, и не раз уже мы праздновали свою немощь перед мором, трусом, голодом и мятежом. Какая же страшная мстительность дол-

жна была за столетия накопиться в нас? Человеческая культура становится все более железной, все более машиной; все более походит на гигантскую лабораторию, в которой готовится месть стихии: растет наука, чтобы поработить землю; растет искусство — крылатая мечта — таинственный аэроплан, чтобы улететь от земли; растет промышленность, чтобы люди могли расстаться с землей. Всякий деятель культуры — демон, проклиная землю, измышляющий крылья, чтобы улететь от нее. Сердце сторонника прогресса дышит черною местию на землю, на стихию, все еще не покрытую достаточно черствой корой; местию за все ее трудные времена и бесконечные пространства, за ржавую, тягостную цепь причин и следствий, за несправедливую жизнь, за несправедливую смерть. Люди культуры, сторонники прогресса, отборные интеллигенты — с пеной у рта строят машины, двигают вперед науку, в тайной злобе, стараясь забыть и не слушать гул стихий земных и подземных, пробуждающийся то там, то здесь», — пишет Блок в статье «Стихия и культура», прибавляя, что «есть другие люди, для которых земля не сказка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами вышли из нее, — 'стихийные люди'». ⁵⁹ Конечно, этим людям не понесешь в качестве лучшего дара, лучшего нажитка мировой культуры обанкротившийся уже в те годы социализм. Не только «стихийным людям земли» — крестьянам. Уже и подлинные революционеры-пролетарии поняли, что социализм, по крайней мере в его марксистском обличьи, не идеология пролетариата, а идеология, направленная против пролетариата. В 1905 году была переиздана в Женеве книга бывшего марксиста, русско-польского революционера Махайского-Вольского «Умственный рабочий», в которой автор, исходя из марксистских же принципов, доказал, что марксизм, марксистский социализм, в частности, в учении о квалифицированном труде, как «потенцированном», умноженном труде абстрактном (подмененном затем у Маркса понятием труда «необученного»), стремится не к уничтожению эксплуатации, а к гегемонии интеллигенции: «Он нападает лишь на одну из форм... неволи, на господство класса капиталистов...» Интеллигенции же обеспечивается, по существу, не только привилегированное положение, неизмеримо лучшее материальное вознаграждение труда, но и этому

«имуществу меньшинству и только его потомству — владение всеми богатствами и трудом веков, всем наследием человечества, всею культурой и цивилизацией». ⁶⁰ В те годы Ленин отказывал пролетариату даже в праве на создание собственными силами своей идеологии: пролетарскую, социалистическую идеологию могла принести пролетариату только интеллигенция: «...социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть принесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. ...И в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции.» ⁶¹ Следовательно, и над «гегемоном» современного революционного движения — пролетариатом — должна стоять нянька или гувернантка — марксистская интеллигенция. Что уж тут говорить о крестьянстве... Нет, конечно, не материализм-атеизм-марксизм, как новую непререкаемую религию, можно считать мостиком, соединяющим интеллигенцию и народ. И не эстетские побрякушки, не религиозно-философские разглагольствования: «все это становится модным, уже модным — доступным для приват-доцентских жен и для благотворительных дам. А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране — реакция, а в России — жить трудно, холодно, мерзко...» ⁶² Зачем же это «идиотское мелькание слов», когда «мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже склонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землею; а под нами — громяющая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы». ⁶³ Так писал в те годы Блок. И в его

страхе перед машиной, перед индустриальным прогрессом, перед грядущим взрывом социальной стихии не было реакционного руссоизма. В те годы началось увлечение многих лучших представителей русской литературы «Философией Общего Дела» Н. Ф. Федорова. Не отвлеченная философская мысль, как бы возвышенна она ни была, не эстетствующая литература, как бы она ни была утонченна. «К вечной заботе художника о форме и содержании присоединяется новая забота о долге, о должном и не должном в искусстве. Вопрос этот — пробный камень для художника современности», — пишет Блок, мучительно сомневаясь в самой «необходимости и полезности художественных произведений».⁶⁴ «Ответит Россия... если соблаговолит ответить, — замечает Блок. — Ведь за 'сермяжным горем' — торжественными неурожаями и соболезнающей интеллигенцией скрывается еще лукавая улыбка, говорящая: 'мы — крестьяне, а вы — господа, мы у себя в деревне, а вы у себя в городе!'»⁶⁵ И в философии нужно теперь не уродливое мельтешение слов, а, по словам С. Н. Булгакова: «Загадку жизни разрешает не тот, кто с высоты 'отрешенного' идеализма холодно озирает нашу жизнь, где высокое перемешано с низким и добро со злом, и не тот, кто в этой борьбе забывает о материальных началах, во имя которых эта борьба ведется и без которых жизнь превратилась бы в бессмысленную игру стихий и страстей, а тот, кто в мысли и в жизни осуществляет начала *действенного идеализма*, кто, по слову Вл. Соловьева,

Цепь золотую сомкнет, и небо с землей сочтает».⁶⁶

Н. Ф. Федоров это сочетание «неба с землей» проектировал даже чисто технически, особенно еще и потому, что наша Россия — страна сельскохозяйственная по преимуществу: «Сельское хозяйство, чтобы достигнуть обеспечения урожая, не может ограничиться пределами земли, ибо условия, от которых зависит урожай или вообще растительная и животная жизнь на земле, не заключается только в ней самой. Весь метеорический процесс, от коего непосредственно зависит урожай или неурожай, весь теллуру-соляренный процесс должен войти в область сельского хозяйства».⁶⁷ В нынешнем положении человеческого «небратства» человек, создавший технику, человек, творец прогресса, не является господином техники, но рабом ее, не свободным творцом прогресса, но

винтиком в его механизме. Ибо он основывается, прогресс теперешний, на отъединении возгордившейся самости от братьев своих, а, следовательно, приводит неизбежно к крови, к борьбе — классовой и сословной, национальной и мировой. Нужно дать человечеству огромную и для всех одинаково важную задачу — Общее Дело: дело борьбы со смертью и преодоления ее — и дело воскрешения отцов и братьев наших. «Жить нужно не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех».⁶⁸ И задача борьбы со смертью — вовсе не утопична: ведь сейчас все силы изобретательского гения человеческого направлены на орудия истребления преимущественно, а если их направить на преодоление смерти, то сколь великих результатов можно при этом добиться! Федоров подходит к своим проблемам не как метафизик, а как технолог, врач, агроном, метеоролог. Не метафизикует, а проектирует. Чистый религиозный материализм! И в основе всего — земля, как всеобщая мать, но и как небесное тело. И вот, поэтому-то, при отрыве от матери земли, так мучителен разлад человеческий — внутренний и внешний: «разлад внутренний кроется в разладе внешнем, в отделении ученого и интеллигентного классов от народа. Знание, лишенное чувства, будет знанием причин лишь вообще, а не исследованием причин неродственности; ум, отделенный от воли, будет знанием зла без стремления искоренить его и знанием добра без желания его водворить; т. е. будет лишь признанием неродственности, а не проектом восстановления родства».⁶⁹ Воскрешение отцов наших — воссоздание первородного единства исторического процесса, нарушенного первородным грехом горделивого самоотъединения. Восстановление органической и гармоничной жизни — как человеческой, так и природной, нарушенной урбанистической демонической и смертоносной цивилизацией: «Город есть совокупность небратских состояний».⁷⁰

Что же касается обожения земли, то эта идея, и через Достоевского, и через учение о Софии-Премудрости Божией Владимира Соловьева — издавна была близка автору «Стихов о Прекрасной Даме». И вот — Россия-София-Народ-Мать Сыра Земля — все это сливается в одно целое с Общим Делом Федорова, с исконно-русским славянофильствующим народ-

ничеством — и образуют тот фон, который должен был стать наиболее благоприятствующим для появления большого и умного поэта из народа — Николая Клюева. Близкий друг-враг, соратник и противник Блока, Андрей Белый, вспоминал впоследствии: «Следующая стадия: — соединение философии Федорова (воскресения индивидуального) с углубленной проблемой народничества, воскресения народного Коллектива, как хора, оркестра...» — так понимал он задачи подлинного символизма.⁷¹ Клюев был необходим — Клюев явился:

«Вот что пишет мне один молодой крестьянин дальней северной губернии, начинающий поэт, — пишет в своей статье «Литературные итоги 1907 года» Блок, — привожу выдержки из его письма, так как считаю его документом большой важности. Начинается все письмо с комплиментов и приятностей насчет 'райских образов' моих стихов. Но дальше уже идет другое:

«Простите мою дерзость, — пишет автор письма, — но мне кажется, что если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы вашим. Так много вмещает грудь строительных начал, так ярко чувствуется великое окрыление!.. И хочется встать высоко над Миром, выплакать тяготенье тьмы огненно-звездными слезами и, подъяв кропило очищения, окропить кровавую землю...

Вы — господа, чуждаетесь нас, но знайте, что много нас, неутоленных сердцем, и что темны мы только, если на нас смотреть с высоты, когда все, что внизу, кажется однородной массой, но крошка искренности, и из массы выступают ясные очертания сынов человеческих. Их души, подобные яспису и сардису, их ребра, готовые для прободения. ...Наш брат вовсе не дичится 'вас', а попросту завидует, а если и терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от 'вас' какой-либо прибыток.

О, как неистово страдание от 'вашего' присутствия, какое бесконечно-окаянное горе сознавать, что без 'вас' пока не обойдешься! Это-то сознание и есть то 'горе-гореваньице' — тоска злючая-клевучая, кручинушка злая, беспросветная, про которую писали Никитин, Суриков, Некрасов, отчасти Пушкин и др. Сознание, что без 'вас' пока не обойдешься, — есть единственная причина нашего духовного с 'вами' несближения, и редко, редко встречаются случаи

холопской верности нянь или денщиков, уже достаточно раз-
вращенных господской передней. Все древние и новые приме-
ры крестьянского бегства в скиты, в леса-пустыни, есть
показатель упорного желания отделаться от духовной зависи-
мости, скрыться от дворянского вездесущия. Сознание, что
'вы' везде, что 'вы' 'можете', а мы 'должны', вот необо-
римая стена несближения с нашей стороны. Какие же при-
чины с 'вашей'? Кроме глубокого презрения и чисто телесной
брезгливости — никаких. У прозревших из 'вас' есть
оправдание, что нельзя зараз переделаться, как пишете вы, и
это ложь, особенно в ваших устах, — так мне хочется верить.
Я чувствую, что вы, зная великие примеры мученичества и
славы, великие произведения человеческого духа, обманыва-
етесь в себе... Так, как говорите вы, может говорить только
тот, кто не подвел итог своему мирозерцанию.

Но из ваших слов можно заключить, что миллионы лет
человеческой борьбы и страдания прошли бесследно для тех,
кто 'имеет на спине несколько дворянских поколений'». ⁷²

(«Письмо написано в ответ на мои очень отвлеченные
оправдания в духе 'кающегося дворянина'», — поясняет в
подстрочном примечании Блок). В письме к матери, 27 но-
ября 1907 г., Блок пишет: «Забавно смотреть на крошечную
кучку русской интеллигенции, которая в течение десятка лет
сменила кучу мирозерцаний и разделилась на 50 враждеб-
ных лагерей, и на многомиллионный народ, который с XV ве-
ка несет одну и ту же однообразную и упорную думу о Боге
(в сектантстве). Письмо Клюева окончательно открыло глаза.
Итак, мы правильно сжигаем жизнь, ибо ничего от нас не
сохранит 'играющий случай', разве ту большую красоту, кото-
рая теперь может брезжить перед нами в похмелье, которым
поражено все русское общество, умное и глупое». ⁷³

Переписка не ослабевала. В записных книжках Блока то
и дело мелькает имя Клюева: 21 сентября 1908: «Письма Клю-
ева...»; 28 сентября 1908: «Народное, письма Клюева...»; ко-
нец ноября 1908: «Письмо Клюева о моих стихах». ⁷⁴ Письмо
это сильно взволновало Блока, и он сообщает о нем матери
в двух письмах: «Всего важнее для меня — то, что Клюев на-
писал мне длинное письмо о 'Земле в снегу', где упрекает
меня в интеллигентской порнографии (не за всю книгу, ко-
нечно, но, например, за 'Вольные мысли'). И я поверил ему



Николай Клюев

(Из собрания Г. Мак Вэя)

(1904-1906 гг.?)

в том, что даже я, ненавистник порнографии, подпал под ее влияние, будучи интеллигентом. Может быть, это и хорошо даже, но еще лучше, что указывает мне на это именно Клюев. Другому бы я не поверил так, как ему. Письмо его вообще опять настолько важно, что я, кажется, опубликую его».⁷⁵ Через два-три дня Блок опять возвращается к этому же письму Клюева: «Клюев мне совсем не только про последнюю 'Вольную мысль' пишет, а про все (я прочту тебе его письмо, когда приеду...) и еще про многое. И не то, что о 'порнографии' именно, а о более сложном чем-то, что я, в конце концов, в себе еще люблю. Не то что я считаю это ценным, а просто это какая-то часть меня самого. Веря ему, я верю и себе. Следовательно (говоря очень обобщенно и не только на основании Клюева, но и многих других моих мыслей): между 'интеллигенцией' и 'народом' есть 'недоступная черта'. Для нас, вероятно, самое ценное в них враждебно, то же — для них. Это — та же пропасть, что между культурой и природой, что ли. Чем ближе человек к народу (Менделеев, Горький, Толстой), тем яростней он ненавидит интеллигенцию. На эту тему приблизительно я и пишу сегодня реферат для религиозно-философского собрания 11 ноября, во вторник».⁷⁶ В письме без даты Клюев писал о «Вольных мыслях»:

« Отдел 'Вольные мысли' — мысли барина-дачника, гуляющего, поющего, стреляющего за девчонками 'для разнообразия' и вообще 'отдыхающего' на лоне природы. Никому это не нужно, кроме Чулкова, коему посвящены эти 'Мысли'. ...

Люди, считающие себя лучшими в царствии, светом родной земли, духовно не выше публики, выведенной в 'Царе Голоде' в картине 'Суд над голодными', дела рук их ни на волос не устраняют лжи жизни — безобразия отношений человеческих, а прекрасному даже вредят...». Разбирая сборники «Нечаянная Радость» и «Земля в снегу», Клюев обвиняет Блока в присущих интеллигенции аморализме и индивидуализме:

«Многие стихи из Вашей книги похабны по существу, хотя наружно и прекрасны. ...Смело кричу Вам: не наполняйте чашу Духа своего трупным ядом самоуслаждения собственным я — я!»

О «Земле в снегу»:

«Верю, что будет весна, найдет душа свет солнца правды, обретет великое 'настоящее', а пока надтреснутый колокол пусть звенит и поет и вместе с вьюгой лесными тропами и оврагами, на огни родных изб, несется звон его — вспыхивает, как ивановский червячек в сумерках человеческих душ, отчего длиннее и кручиннее становится запевочка, крепче думушка сухотная неотпадная, голее горюшко голое, ярче и большее ненависть зеленоглазая, изначальная ярость земли-матери, придавленной снегами до часа и дня урочного».⁷⁷⁾

Около 11 сентября 1908 года Блок получил от Клюева письмо, в которое было вложено другое письмо — литератору и редактору журнала В. С. Миролубову, — с просьбой — Блоку — переслать это письмо Миролубову в Париж. В письме Миролубову были ответы на вопросы, знают ли крестьяне «его местности», «что такое республика, как они относятся к царской власти, к нынешнему царю, и какое настроение среди них».⁷⁸ Письмо так заинтересовало Блока, что он переписал его и включил большие выдержки из него в свою статью «Стихия и культура» (1908), и писал о нем своим друзьям Е. П. Иванову (13 сентября 1908) и Георгию Чулкову (18 сентября 1908): «Если бы ты знал, какое письмо было на днях от Клюева (олонецкий крестьянин, за которого меня ругал Розанов⁷⁹). Про приезде прочту тебе. Это — документ огромной важности (о современной России — народной, конечно), который еще и еще утверждает меня в моих заветных думках и надеждах».⁸⁰ И Чулкову: «Очень много и хорошо думаю. Получил поразительную корреспонденцию из Олонецкой губернии от Клюева. Хочу прочесть Вам».⁸¹

«Только два-три искренних, освященных кровью слова революционеров неведомыми, неуследимыми путями доходят до сердца народного, находят готовую почву и глубоко пускают корни, так, например: 'земля Божья', 'вся земля есть достояние всего народа' — великое, неисповедимое слово... 'все будет, да не скоро', — скажет любой мужик из нашей местности. Но это простое 'все' — с бесконечным, как небо смыслом. Это значит, что не будет 'греха', что золотой рычаг вселенной повернет к солнцу правды, тело не будет уничтожено бременем вечного труда.

Наша губерния, как я сказал, находится в особых усло-

виях. Земли у нас много, лесов — тоже достаточно. Аграрно, если можно так выразиться, мы довольны...

Наружно вид нашей губернии крайне мирный, пьяный по праздникам и голодный по будням. Пьянство растет не по дням, а по часам, пьют мужики, нередко бабы и подростки. Казенки процветают, яко храмы, а хлеба своего в большинстве хватает немного дольше Покрова... Вообще мы живем как под тучей — вот-вот грянет гром и свет осияет трущобы земли»...⁸²

И Блок, приводя эти места из письма Клюева в своей «Стихии и культуре», говорит о двух стихиях, поднимающихся из поддонных глубин народа русского: о раскольниках и сектантах, с одной стороны, и разбойной вольнице, с другой. Обе он характеризует песнями, взятыми из того же письма Клюева: сектанты поют:

Ты любовь, ты любовь,
Ты любовь святая,
От начала ты гонима,
Кровью политая.

Вольница же распевает иные песни:

У нас ножики литые,
Гири кованые,
Мы ребята холостые,
Практикованные...
Пусть нас жарят и калят,
Размазуриков-ребят —
Мы начальству не уважим,
Лучше сядем в каземат...
Ах, ты, книжка-складенец,
В каторгу дорожка,
Пострадает молодец
За тебя немножко...

Комментируя это письмо, Блок заключает: «В дни приближения грозы сливаются обе эти песни: ясно до ужаса, что те, кто поет про 'литые ножики', и те, кто поет про 'святую любовь', — не продадут друг друга, потому что — стихия

с ними, они — дети одной грозы; потому что — земля одна, 'земля Божья', 'земля — достояние всего народа'. Распалась месьть Культуры, которая вздыбилась 'стальной щетиною' штыков и машин. Это — только знак того, что распалась и другая месьть — месьть стихийная и земная. Между двух костров распалившейся мести, между двух станом мы и живем. Оттого и страшно: каков огонь, который рвется наружу из-под 'очерепевшей лавы'? Такой ли, как тот, который опустошил Калабрию, или это — очистительный огонь? Так или иначе — мы переживаем страшный кризис». ⁸³

В конце 1908 года и в 1909 году Блок особенно интересовался староверами и сектантами и неоднократно посещал их собрания. Так, М. М. Пришвин вспоминал об этом в 1918 году: «Мы одно время с Блоком когда-то подходили к хлыстам, я — как любопытный, он — как скучающий. Хлысты говорили: 'Наш чан кипит, бросьтесь в наш чан, умрете и воскреснете вождем'. Блок спрашивал: 'А моя личность?'». ⁸⁴ В ночь 16-17 февраля 1909 года Блок записывает: «Поехать можно в Царицын на Волге — к Ионе Брихничеву. В Олонецкую губернию — к Ключеву. С Пришвиным поваландаться? К сектантам — в Россию». ⁸⁵

Эти годы — годы большого увлечения раскольниками и сектантами, в частности, хлыстами. Андрей Белый пишет о них роман «Серебряный голубь» (1909), пишут о них Л. Д. Семенов и А. М. Добролюбов, сами ушедшие в сектантство (второй даже секту свою собственную основал...), расстриженный священник-поэт и публицист-революционер Иона Брихничев, которому вскоре предстоит стать издателем журнальчиков «народной религии» «Новая Земля» и «Новое Вино», главной силой которых станет Ключев... Пишут о староверах и сектантах даже социал-демократы большевики, Бонч-Бруевич, например...

Весь или почти весь 1909 год Ключев, повидимому, живет у себя в деревне. 21 октября 1909 года Блок отмечает в записной книжке: «Надо написать еще... Ключеву...» ⁸⁶ Затем, по всей вероятности, опять — странствования по Руси, а, может быть, и по Востоку... И — еще не перебродившие окончательно устремления к православию — и христовщине, революционному социализму — и восточной мистике, непротивленчеству злу — и анархическому буйству.

В 1911 году Клюев появляется и в Москве, и в Петербурге. Вид его поражает многих. «В эту нашу первую человеческую — магия 'Крестовых сестер' — Таврическую квартиру... забредет 'по пророчеству', 'ведомый рукой Всевышнего' Н. А. Клюев с показным игральным крестом на груди — 'претворенная скотина', имя, данное им А. И. Чапыгину, завистливой пробковой замухри: завистливой: 'почему говорят не о нем, чем он хуже Замятина?' Клюев, превеличленно окая по-олонецки, 'величал' меня Николай Константинович. Я догадался: 'Рерих' — и сразу понял и оценил его большую мужицкую сметку, игру в небесные пути. Раздирая по-птичьему рот, он божественно вздыхал. Повторяет: 'так вы не Рерих?'»⁸⁷ Так вспоминал, по обычаю своему сильно шаржируя, Алексей Ремизов. Сергей Есенин, также весьма пристрастный свидетель, рассказывал впоследствии Мариенгофу, как нужно играть «последнего поэта деревни»: «Вот и Клюев... так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: 'Не надо ли чего покрасить?'... И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: 'Так-де и так'. Явился барин. Зовет в комнаты — Клюев не идет: 'Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю и пол вощенный наслежу'. Барин предлагает садиться. Клюев мнетя: 'Уж мы постоим'. Так, стоя перед баринком на кухне, стихи и читал»...⁸⁸ Какая-то доля правды во всех этих рассказах есть, но как связать их с характером клюевской переписки с Блоком — и с рассказом Блока о первом посещении поэта Клюевым. Вот запись в дневнике поэта — 17 октября 1911: «Клюев — большое событие в моей осенней жизни. Особаченный Мережковскими, изнуренный приставаньем Санжарь,⁸⁹ пьяными наглыми московскими мордами 'народа'..., спутанный, — я жду мужика, мастеровщину, П. Карпова⁹⁰ — темно-мордое. Входит — без лица, без голоса — не то старик, не то средних лет (а ему — 23?). Сначала тяжело, нудно, я сбив с толку, говорю лишнее, часами трещит мой голос, устаю, он строго испытует или молчит. ...Входит Кузьмин-Караваев⁹¹ — полусумасшедший, ...говорит еще дико. Их перебрасыванье словами с Клюевым ('господин, ищущий власти', — а не имущий власть — 'царь всегда на языке, готов'). Только в следующий раз Клюев один, часы нудно, я измучен, — и

вдруг бесконечный отдых, его нежность, его 'благословение', рассказы о том, что меня поют в Олонецкой губернии, и как (понимаю я) из 'Нечаянной Радости' те, благословляющие меня, сами не принимают ничего полусказанного, ничего грешного. Я-то не имел права (веры) сказать, что сказал (в 'Нечаянной Радости'), а они позволили мне: говори. И так ясно и просто в первый раз в жизни — что такое жизнь Л. Д. Семенова и даже — А. М. Добролюбова. Первый — Рязанская губ., 15 верст от имения родных, в семье, крестьянские работы, никто не спросит ни о чем и не дразнит (хлысты, но он — не). 'Есть люди', которые должны избрать этот 'древний путь', — 'иначе не могут'. Но это — не лучшее, деньги, житье — ничего, лучше оставаться в мире, больше 'влияния' (если станешь в мире 'таким'). 'И одежду вашу люблю, и голос ваш люблю'. — Тут многое не записано, запомнено, я был все-таки рассеян, но хоть кое-что. Уходя: 'Когда вспомните обо мне (не внешне), — значит, я о вас думаю'...⁹²

И через день, запись 19 октября: «Злиться я не имею права, потому что слышал кое-что от Клюева, потому что обеспечен деньгами и могу не льстить и потому, что сам несколько не лучше тех, о ком пишу».⁹³

В конце 1911 года появляется в Москве (с датой на титульном листе — 1912) первая книга стихов поэта «Сосен перезвон»: «напечатана радением купца Знаменского», как рассказывает в своей автобиографической заметке Клюев. Книга имела в литературных кругах, да, отчасти, и у широкой публики большой успех, так что уже в 1913 году потребовалось второе ее издание. Книгу предваряет предисловие Валерия Брюсова, из рук вон плохо понявшего поэта: для московского мэтра он — «самородок», плохо отесанный, но занятный поэт из деревни: «Поэзия Н. Клюева похожа на... дикий, свободный лес, незнающий никаких 'планов', никаких 'правил'. Стихи Клюева вырастали так же 'как попало', как вырастают деревья в бору». Впрочем, и через четыре года маститый П. Сакулин в «Народном златоцвете» писал, что Клюев — от сохи, живет постоянно в деревне, занимается в основном хлебопашеством...⁹⁴ Но и книга-то «Сосен перезвон» была, как уже сказано выше, посвящена не Брюсову, а «Александрю Блоку — 'Нечаянной Радости'»... 5 декабря 1911 года

Блок отмечает в дневнике: «Письмо и книга Клюева»,⁹⁵ а на следующий день, 6 декабря: «Я над Клюевским письмом. Знаю все, что надо делать: отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу. Стишок дописал — 'В черных сучьях дерев'». ⁹⁶ Это стихотворение, датированное 6 декабря 1911, — «Унижение»:

В черных сучьях дерев обнаженных
Желтый зимний закат за окном.
(К эшафоту на казнь осужденных
Поведут на закате таком). ... —

может быть, оно перекликается, в какой-то мере, не по тону, а по некоторым «затактам», с клюевским, из «Сосен пере-звона»:

Я надену черную рубаху,
И вослед за тусклым фонарем
По камням двора пройду на плаху
С молчаливо ласковым лицом. ...

Во всяком случае, в блоковском стихотворении, дописанном в день дневниковой записи о Клюеве, есть какое-то внутреннее отталкивание от клюевского... И — опять на другой день 7 декабря: «Переписка письма Клюева. Письма Городецкому и Анне Городецкой. И посылка им послания Клюева...»⁹⁷ 9 декабря: «Послание Клюева все эти дни — поет в душе. Нет, рано еще уходить из этого прекрасного и страшного мира». ⁹⁸ 14 декабря: «Ни с кем ничего не договорить, устал, сплю плохо, дилетантски живу, забываю и письмо Клюева; шампанское, устрицы, вдохновения, скуки; не жалуюсь, но и не доволен». ⁹⁹ А 17 декабря — некое «покаяние»: «Писал Клюеву: 'Моя жизнь во многом темна и запутана, но я не падаю духом'. Женщины (как-то 'вообще')». ¹⁰⁰

Трудно сказать, не почувствовал ли Блок в этом своем «духовном романе» с Клюевым, что со стороны последнего явно проскальзывают далеко не платонические нотки (напомним хотя бы «и одежду вашу люблю, и голос ваш люблю» — и весь конец записи Блока о словах Клюева при их

втором свидании; обратите также внимание на тон писем Клюева к мужчинам, писем, приведенных в следующей за этой статье Гордона Мак-Вэя), — но только в последующих записях уже чувствуется и известное отталкивание от Клюева. И его едва ли можно объяснить только возмущением «учительным» тоном последнего. Можно думать, что в том, как он, Клюев, «обручает раба Божия Александра рабе Божией России»,¹⁰¹ как называл его «сладчайшим братом Александром»,¹⁰² инстинктивно почувствовал Блок не только сектантско-олонецкую стилистику, а и нечто совсем иное. Тем более, что «обручения» эти и слова о том, что Блока распевают в Олонецкой губернии, то и дело чередовались с обличениями и чуть ли не анафематствованиями:

«Одной ногой Вы стоите в Париже, другой же на 'диком бреге Иртыша...' Вы бежали к портному примеривать смокинг, в то же время посылая воздушный поцелуй и картузу и косоворотке».¹⁰³

Но понимания полного этих элементов в отношении Клюева к нему у Блока, очевидно, не было, появились только какие-то смутные отталкивания, как от чего-то темного, давящего, да притом навязчиво-учительного. 23 декабря 1911 года Блок записывает: «Я пробыл у Мережковских от 4 до 8, видел и Зинаиду Николаевну, и Мережковского, и Философова. ...Я читал письмо Клюева, все его бранили на чем свет стоит, тут был приплетен и П. Карпов. Будто — христианство 'ночное', 'реакционное', 'соблазнительное'»...¹⁰⁴ И запись того же дня: «Итак — сегодня: полное разногласие в чувствах России, востока, Клюева, святости. ...» Разногласия — с Мережковскими и их кругом. Но — в какой-то мере — и с Клюевым. Недаром сразу же вслед за своими записями этого дня Блок переписывает в свой дневник «из письма М. П. Ивановой к маме (20 декабря):... пожалуйста не думайте, что я испугалась слов эшафот и т. п. и потому отношусь отрицательно к письму Клюева. Когда я начала читать, то мне очень понравилась красота образов и сравнений, но так от начала и до конца и была только одна красота. Из-за этой красоты и до сути не доберешься. Чужая душа — потемки,... но по письму могу сказать только, что поэт совсем закрыл человека. Видно, что он любит А-ра А., но

очень уж много берет на себя,*) предъявляя такие обвинения, угрозы, чуть ли не заклинания. Куда он зовет? Отдать все и идти за ним,**) и что же делать? Служить России? Но это ведь даже не Россия, а его дикий бор только, неужели истина только там?.. Перезвон красивых фраз, и А. А. принял это очень к сердцу только потому, что, вероятно, сам переживал разные сомнения, и вот в этой-то борьбе с самим собой гораздо больше Бога, чем в горделивой уверенности в своей правоте Клюева. Он был обижен смехом иронии и недоверия А. А. над дорогими ему вещами; но мне кажется, это был смех, чтобы заглушить в себе горечь и недовольство самим собой. Я думаю и надеюсь, что Бог, Который носит определенное название нашего Спасителя и Который даровал талант А. А., поможет ему в конце концов найти самому истинный путь к спасению себя и других, потому что А. А. понимает не одну только красоту, но и страдание.***) Удивляюсь, что Клюев, только написав А. А. разные обвинения и не зная даже, как их примет А. А., через несколько строчек уже дарует ему прощение; нет, не нравится мне это. ...У Клюева очень много гордости и самоуверенности, я этого не люблю...»¹⁰⁵ Запись в дневнике на следующий день (24 декабря 1911): «Сомневаюсь о Мережковских, Клюеве, обо всем. Устал — уже, как рано, сколько еще зимы впереди. Надо бы не пить больше».¹⁰⁶

Выход книги «Сосен перезвон» сделал Клюева желанным гостем повсюду. А. Д. Скалдин рассказывает: «Мережковские и другие, стоявшие у кормила Религиозно-философского Общества, переживали тогда моду на 'людей от земли', из 'народной толщи'; тяготение к таким людям было и у Александра Александровича. К числу этих людей у Мережковских относили Пимена Карпова, Сергея Есенина, Николая Клюева и меня. Первые трое и в литературе и в жизни так и заявили, что они 'землю знают'».¹⁰⁷ Это свидетельство

*) Мое. (Примечание А. А. Блока).

***) NB. Это и я понял — так честно понять. Примечание А. А. Блока).

***) Так. Мережковские говорят тоже, что Клюев не понимает меня. «Разве вы любите одну красоту!» — воскликнул Мережковский. (Примечание А. А. Блока).

относится не только к 1915 году — году появления в Петербурге Есенина, — но и к более раннему периоду, так как Клюев появился у Мережковских много раньше... Умная и с зорким глазом профессиональной художницы Ольга Форш, в документальном повествовании «Сумасшедший Корабль», где Гаэтан — Блок, «Межпланетный Гастролер» — Андрей Белый, а Микула — Клюев, рассказывает, несколько сдвигая годы и сжимая сроки, что Клюев «стихи свои читал, как никто. Особенно врезался один раз, еще в веке прошлом (т. е. довоенном и дореволюционном, БФ). С подкрадкой, подползлом, и вдруг всей мужицкой мощью, как конь кобылицу, покрыл все религиозно-философское собрание, сорвал с мест, завертел вертуном.

Я видел звука лик и музыку постиг,
Даря уста цветку, без ваших ржавых книг...

А изысканный президиум, чтобы иметь право презирать его дурманный вихрь, сам утратив давно язычески жаркую силу веры, как за последнее дерево над бездной, хватался за догматы. Без бабьей теплоты, одним интеллектом, бескровно тянулись на носочках, чтобы не опачкаться об разнужданную плоть земли, делали дыбки, как годовалые, перед своим собственным кружковым укрытым в комнате богом. Ему ставили тонюсенькую, источенную неестественным восковым червем свечечку. Минуя старую крепкую церковь, причащались и мазались миром у некоего пиджачника, от чего тетка пиджачника была в ужасе и восклицала зараз по-французски и с галлицизмом по-русски:

— Бог мой, да лучше мне помереть, как последний атеист, чем быть миропомазанной через нашего Кокó — être ointée par Coco!

И вот, помнится, 'они' председательствовали. А Микула, почитаемый ими за авангард антихристов, пробрался незвано-негаданно, да как грянет с кафедры на президиум и на всю залу:

Беседная изба — подобие вселенной.
В ней шолом — небеса, полати — млечный путь,
Где кормчему уму, душе многоплачевной
Под веретенный клир усердно отдохнуть.

Он топотал, ржал в великолепном вдохновении. Он взвихрил в зале хлыстовские вихри, вовлекая всех в действо 'беседной избы'. Он вызывал и восхищение, и почти физическую тошноту. Хотелось, защищаясь, распахнуть форточку и сказать для трезвости таблицу умножения.

Космос, не просветленный Логосом, предтеча Антихриста...»¹⁰⁸

Эту темную поддонную тягость духа, думаю, вместе со смутно угадываемой густой тяготой хлыстовской эротической одержимости и гомосексуализма, — почувял Блок — и почувял больше, чем сами достаточно замутненные Мережковские. Через восемь лет, во «внутренней рецензии» на стихи Дмитрия Семеновского, Блок писал: «В родовом, русском — Семеновский роднится иногда с Клюевым,... черпая из одной с ним стихии; это как раз то, что мне чуждо в обоих, что приходится признать, с чем нельзя не считаться, но с чем, по-моему, жить невозможно: тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь. ...В этом мире нет места для страсти — она скоро превращается в чувственность...»¹⁰⁹ Но и ранее, конечно, Блок уже чувствовал это так же отчетливо и рвался к беседе о Клюеве с людьми совсем иной складки и иных настроений: «Руманов...»¹¹⁰ записывает Блок 11 января 1912 г., — интереснейший и таинственнейший человек, с которым жаль расставаться; какой-то особый (еще непонятно, почему) интерес и острота разговора с ним на многие и многие темы (Клюев, какие-то еще мужички,... Сытин — все вместе)...»¹¹¹ Но общение с Клюевым не прекращается и дальше, о чем свидетельствуют записи последующих лет: 7 сентября 1912: «Вечером — Клюев, мама, Женя.¹¹² Клюев ночует».¹¹³ 8 сентября: «Утро с Клюевым».¹¹⁴ 25 февраля 1913: «Телефоны Клюева и Жени».¹¹⁵ 4 марта 1913: «С утра стал разбирать записные книжки — прошлое дохнуло хмелем. ... Потом Клюев, очень хороший, рассказывал, как живет».¹¹⁶

Но прежней духовной близости уже нет. Блок отчетливо сознает, что его творческий и жизненный путь — и творческий и жизненный путь Клюева — пути разные, не могущие слиться воедино. В 1912 году Клюев — основная идейная и творческая сила в журналах расстриженного за склонность к старообрядчеству и сектантству, а также к народническому

социализму священника Ионы Брихничева — «Новая Земля» и «Новое Вино». В «Новой Земле» Клюев печатает много своих стихотворений, та же «Новая Земля» печатает брошюры стихов Клюева «Братские песни» («Песни голгофских христиан»), 1912 (16 стр.), и «Лесные были», 1912 (тоже 16 стр.). В 1912 же году выходит «книга вторая» стихов Клюева «Братские песни», со вступительной статьей В. Свенцицкого, в издании того же журнальчика «Новая Земля», но уже в весьма расширенном объеме (XIV + 64 стр.). В начале следующего 1913 года, в издательстве К. Ф. Некрасова, в той же Москве, выходит «третья книга» Клюева — «Лесные были», уже в более полном виде (78 стр.). Клюев — желанный гость не только в таких журналах, как «Нива», «Новая Жизнь», «Современник», «Современный Мир», но и в реформированной П. Б. Струве и Брюсовым «Русской Мысли», в народнических «Заветах» Иванова-Разумника и в изысканных «Аполлоне» и «Гиперборее». Его печатают в альманахах, включают его стихи в антологии — популярность его растет не по дням, а по часам. Мы уже видели, как встретили первую книгу Клюева, в частности, Гумилев. В предисловии к «Братским песням» В. Свенцицкий, литератор и активный сотрудник «Новой Земли», писал: «В области человеческого духа бывают явления, которые почти невозможно подвести под обычные общепринятые понятия. Творчество Николая Клюева принадлежит именно к числу таких явлений. Назвать его: 'художником', 'поэтом', 'писателем', 'певцом' — значит сказать правду и неправду. Правду — потому что он 'художник', и 'поэт', и 'писатель', и 'певец'. — Неправду — потому, что он по своему содержанию бесконечно больше всех этих понятий. ... 'Песни' Николая Клюева — это пророческий гимн Голгофе... В них раскрывается вся полнота нового 'голгофского' религиозного сознания, не только мученичество, не только смерть — но победа, и воскресение. ...Здесь уже не только литература, не только 'стихи' — здесь новое религиозное откровение...»¹¹⁷

В таком же приподнятом декламационном стиле написано все предисловие... И вот издатель, Иона Брихничев, в письме от 12 августа 1912 года, просил Блока прислать для первого номера журнала «Новое Вино», издаваемого взамен запрещенной цензурой «Новой Земли», отзыв (рецензию или

критическую заметку) о «Братских песнях» Клюева, которым и он придавал «огромное религиозное значение», и высказаться по поводу программы нового журнала.¹¹⁸ Блок отвечал 26 августа: «Я не враг Вам, но и не Ваш. Весь мир наш разделен на клетки толстыми переборками: сидя в одной, не знаешь, что делается в соседней. Голоса доносятся смутно. Иногда по звуку голоса кажется, что сосед — близкий друг; проверить это не всегда можешь. Пробираться сквозь толщу переборки невозможно. Делаешь, сидя в своей клетке, одинокое дело: иногда узнаешь, что это дело где-то, вне поля моего зрения, принесло плод. Точно так же узнаешь дело соседа, чей голос казался родным, принесло плод. Все эти узнавания отрывочны, недостаточны, скудны. Все это говорю я совсем не с отчаянием; хочу показать только, почему мне кажется невозможным делать *общее* дело с Вами, с кем бы то ни было! Не говорю даже и 'навсегда', — но теперь так. Правда в том для меня..., что чем лучше я буду делать свое одинокое дело, тем больший принесет оно плод. ...Это не значит, что в России, например, нет такого *четвертого* сердца, которое бы слышало биение трех сердец (скажем, клюевского, Вашего и моего) как одно биение. Ваша вера так велика, что из подобных фактов (а они существуют, я не сомневаюсь в этом) Вы можете делать немедленные заключения, строить на них. — Для меня же это только разрозненные факты, и я всегда могу думать *меньше*: Вы, Клюев, я, кто-нибудь четвертый с Волги, из Архангельска, с Вольни — все равно, — все разделены, все говорят на разных языках, хотя, может быть, иногда понимают друг друга. Все живут по-своему. Может быть, я говорю так потому, что соединение и связь мыслю такими несказанными и громадными, какие редко воплощаются в мире. Но ведь все великое редко воплощается в мире. ...Во всяком случае, говорю это Вам не с тоской. Говорю к тому, чтобы показать, почему, любя Клюева, не нахожу ни пафоса, ни слова, которые передали бы третьему (читателю 'Нового Вина') нечто от этой моей любви, притом передали бы так, чтобы делали единым и его, и Клюева, и меня. Все остаемся разными. Теперь я, насколько умел, показал Вам 'тенденцию' своей души. Все более укрепляясь в этих мыслях, я все более стремлюсь к укреплению формы художественной, ибо для меня (для

моего 'я') она — единственная защита. Вы же (т. е. вся 'Новая Земля'), по-моему, пренебрегаете формой, как бы надеясь, что души людей, принявших Ваше содержание, сами станут формами, его хранящими. Я и об этом не сужу, — не знаю, может или не может быть так. Говорю это опять-таки для того, чтобы показать, как различны наши приемы. Так же различны, как далеки друг от друга в настоящее время искусство и люди. Делаю вывод: на художественном пути, как мне и до сих пор думается, могу я сделать больше всего. Голоса проповедника у меня нет. Потому я один. Так же не с гордостью, как и не с отчаянием говорю это, поверьте мне». ¹¹⁹

Пути разделились. Оставались по-прежнему литературные отношения, но Блок окончательно осознал, что его отношение к жизни и поэзии, Богу и России, народу и творчеству — никак не могут даже сблизиться с теми путями, нередко извилистыми и путанными, но в основном своем направлении целенаправленными на «Аввакумову» дорогу, какими шел, ощупью и спотыкаясь, но упорно шел Клюев.

Годы философских и религиозных исканий — и блужданий, литературных поисков и театральных находок, годы расцвета русского балета и русской театральной живописи, годы кризиса символизма и первых выступлений русского футуризма — будетлян «Гилеи» — эти годы были и годами неославянофильских настроений, интереса к исконно-русской старине, умиленного радования вновь открываемым красотам русского прошлого. В 1907 году впервые звучит на сцене Мариинского театра лучшее создание русского оперного искусства — «Сказание о Невидимом Граде Китеже и Деве Февронии» Римского-Корсакова, на весь мир гремит голос Шаляпина, великого пропагандиста гениальных народных музыкальных драм Мусоргского — «Бориса Годунова» и «Хованщины». Молодой Стравинский — в Париже и дома — омузыкаливает русские «Прибаутки», русскую волшебную сказку — в «Жар-Птице» и — вместе с Александром Бенуа — гофманизирует русский балаган и русский простонародный лубок в «Петрушке». Рерих, не только художник, но и литератор, пишет и маслом и словом половецкие степи и св. Прокония, корабли неведомые молитвой напутствующего, старого Нередицкого Спаса и варяго-словенскую старь. П. Му-

ратов, Евгений Трубецкой, искусствоведы, поэты, художники, богословы пишут восторженные гимны русской древней иконописи, архитектуре старорусских храмов. Алексей Ремизов пишет свои затейные «Посолонь» и «Колобок — вещь темную». Появляются и подлинные крестьянские поэты, не доморощенные Белоусовы да Дрожжины, а поэты, читая которых уже не нужно было делать скидку на их мужичье происхождение. В 1910 году выходит первая книжка стихов курского крестьянина Пимена Карпова, в 1911 — тверского крестьянина Сергея Клычкова. Будущий коммунист, чуть ли не рюрикович родом, Сергей Городецкий культивирует в те годы поверхностно-блестящий, оперно-балетный «русский стиль» с Ярилами, Ладами да Барыбами, собирает вокруг себя деревенских поэтов.

«Клюев поехал ...в Петербург и успел там прогrometer, — вспоминает В. Ф. Ходасевич, — Городецкий о нем звонил во все колокола».¹²⁰ Сам Городецкий писал в 1926 году: «К тому времени он (Клюев. БФ) уже был известен в наших кругах. Деревенская идеалистика дала в нем, благодаря его таланту, самый махровый сгусток. Даже трезвый Брюсов был увлечен им».¹²¹ Появляется Клюев и на башне у Вячеслава Иванова, и на собраниях петербургского религиозно-философского общества (колоритную картинку одного из выступлений Клюева в этом обществе, нарисованную Ольгой Форш, я привел несколько раньше). Забыто давно то время, когда В. В. Розанов называл цитированное Блоком письмо Клюева «смешным письмом бывшего дворового человека».¹²² Теперь Клюев — повсюду и всегда — желанный гость. «Клюев, попавший на это собрание случайно, — пишет А. М. Ремизов, — он всегда попадал 'случайно', куда ему нужно было, представлял 'святого человека'. Он одинаково мог представлять и не 'святого', появляясь в смокинге с подводкой глаз в 'Бродячей Собаке'. А в этот вечер 'святой' человек предстоял на пиру у 'мытарей и грешников': скорбно потупив глаза, правой рукой касаясь своего старинного серебряного наперсного креста — крест поверх синей поддевки — умильно и проникновенно, побеждая свою голосовую сушь, 'вопросал', подобно Кирику, мужа премудра и своязычна: П. Е. Щеголев переходил на персидский — таков уж обычай в конце юбилейных да и не юбилейных вечеров. 'А скажите, Павел Елисеевич, — окая вопрошал Клюев, — Евреинов Николай Николаевич из евреев бу-

дут?' Щеголев потупился, как бы раздумывая, и протомив Ключева — Ключев уж начал было: 'и фамилия такая'... — разразился неудержимым смехом...»¹²³ Это — о собрании у П. Е. Щеголева — в память вологодской ссылки хозяина, Ремизова и других. Рассказ по-ремизовски стилизованный и, конечно, переиначенный, но характерный. Ключев повсюду, где собирается столичная интеллигенция, и он всюду — свой и чужой. Огромная начитанность Ключева поражает Иону Брихничева: «Ключев своим необычайным духовным развитием обязан своей пытливости и книгам».¹²⁴ Но не только простоватого И. П. Брихничева поражает ум и начитанность Ключева. Его философской осведомленности поражаюсь покойный С. А. Алексеев-Аскольдов. Его, как мы видели, чтит необычайно Свенцицкий. Акмеисты делали на него ставку. Много лет спустя гениальный Никос Казанцакис, в письме 26 июня 1928 года, называл Ключева «великим мистическим поэтом, христианином».¹²⁵ Мы видели, как расценивали Ключева Блок и Гумилев, Городецкий и Ольга Форш, Андрей Белый и Мандельштам — такие совсем несхожие друг с другом. Заметили Ключева и наиболее приметливые из большевиков: «Звезда» отозвалась на появление книг «народного поэта», литературной беседой Ю. Каменева, посвященной специально Ключеву.¹²⁶

Вторая книга стихов — «Братские песни» — книга значительно более своеобразная и более совершенная по форме, нежели первая книга поэта. Некоторые стихотворения ее, как уже сказано мимоходом раньше, заставляют пристально вчитаться и в забытую, но подспудно живущую поэзию русского раскола и сектантства. Недаром многие из «радельных» и «братских песен» написаны не поэтом — Ключевым, а Давидом хлыстовского Корабли — братом Николаем. И как много общего в «радельных» песнях поэта — и в духовных песнопениях хлыстов и скопцов:

Царство ты, Царство, духовное Царство!
Во тебе во Царстве — благодать великая:
Праведные люди в тебе пребывают.
Они в тебе живут и не унывают,
На Святого Духа крепко уповают. ...
...В том ли во Царстве — сады превеликие;
Во тех ли во садах — древа плодовые. ...

...Растите ж вы, деревушки, и не засыхайте,
Белыми цветочками всегда расцветайте;
Вы цветы цветите до Царства Небесного,
Будьте вы, деревушки, первые во саде;
Будьте во главе во Царстве Небесном,
Будьте вы любимы Отцу и Сыну,
Отцу и Сыну и Святому Духу!¹²⁷

Обожествление земли, как Богородицы; «христовщина» — корабль, вся община верных — крины райские, древа Сада Царства Отчего. Именно в то время так сильно звучит эта идея — идея Земли-Богородицы, идея нетленной Души Мира — Софии Премудрости Божией, как и идея Града Невидимого. «София есть Великий Корень целокупной твари, ...которым тварь уходит во внутри-Троичную жизнь и через который она получает себе Жизнь Вечную от Единого Источника Жизни; София есть первозданное естество твари, творческая Любовь Божия... ..Идеальная личность мира. Образующий разум в отношении к твари, она — образуемое содержание Бога-Разума, 'психическое содержание' Его, вечно творимое Отцом через Сына и завершаемое в Духе Святом: Бог мыслит *вещами*...»¹²⁸ Так писал о. Павел Флоренский (когда-то, около 1905 г., близкий к кругу о. Ионы Брехничева, Вл. Эрн и Свенцицкого, с которыми он и основал «Союз христианской борьбы»,¹²⁹ — следовательно, близкий и Ключеву...). В «Философии хозяйства» С. Н. Булгаков «душу мира» прямо именует «Софией»¹³⁰ — и притом, вслед за Достоевским, сопрягает «Софию» с Матерью Сырой Землей. «А по-моему, — говорит в «Бесах» Мария Тимофеевна Лебядкина, — Бог и природа есть все одно.. ...А тем временем и шепни мне... одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: 'Богородица что есть, как мнишь?' — 'Великая Мать, отвечаю, упование рода человеческого'. — 'Так, говорит, Богородица — Великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть...»¹³¹ Старый князь в «Китеже» Римского-Корсакова-Бельского (1905) призывает китежан молиться Матери сырой земле — Богородице. Представление о земле, как Богородице — давнее убеждение Руси. Земля — священна. «Клянется, з е м л ю е с т», — обычное выражение на севере.¹³² «С пишушим эти строки шел этапом

на Ухту, в лагерь НКВД, в 1936 г. судья-коммунист из глухого городишка Севера, осужденный за то, что заставлял и обвиняемых, и свидетелей есть землю в знак их правоты: у лжесвидетеля мать-сыра земля в нутре ядом обернется...»¹³³

«Богородица наша землица!» — зовет Клюев в «Красной песне» 1917 года. И весь мир, вся вселенная для него — огромный организм, который оплодотворяется, осмысливается, одухотворяется и заселяется человечеством. Иногда его стихи — воспринятые непосредственно — плотяны до нестерпимости. Но за ними — огромный пафос религиозного антропо-теургического материализма Н. Ф. Федорова, которого, по свидетельству покойного С. А. Алексеева-Аскольдова, Клюев знал превосходно: «не только посетить, но и населить все миры вселенной»,¹³⁴ — этот пафос жизни, вечной и радостной, торжествующей над смертью, — во многих стихах поэта.

Ты взойди, взойди, Невечерний свет,
С земнородными положи завет! ...
...Не желтели бы травы тучные,
Ветры веяли б сладкозвучные,
От земных сторон смерть бежала бы,
Твари дышущей смолкли б жалобы...
(Братские песни)

..Избежав могильной клетки,
Сопричастники живым,
Мы убийц своих приветим
Целованием святым...
(Песнь похода)

И Единое око насытится зреньем
Брачных ласк и зачатий от ядер миров...
...Роженица-земля, охладив ложесна,
Улыбнется Супругу крестильной зарей...
(Долина Единорога)

Примеры — в особенности из дальнейших книг Клюева — могут быть умножены неограниченно... Даже мессианство деревни, спасающей страдающий язвой «небратства» город-

ской мир, — находит свое утверждение в федоровской «Философии Общего Дела».

Земля — и вольная волюшка. Это не заигрывание с эсерами «на всякий случай!» — как ворчит Ходасевич в «Некрополе». «Паспорт, прикрепленность к месту он (раскол, БФ) ненавидит. Он и теперь требует полной личной свободы, — свидетельствует В. Кельсиев.¹³⁵ А скопцы и хлысты (хлысты) духовной песней призывают Духа Святого и молят именно о полной свободе:

Возопием, братие,
Мы устами духа:
Услыши нас, Господи,
Не затвори слуха!
Сотворивый разумом
Весь мир, всю природу,
Даруй нам, рабам Твоим,
Вечную свободу.
Да внемлем словам Твоим
Разумным слухом,
И летим к Тебе, Боже,
Свободным духом...¹³⁶

Неслучаен был пристальный интерес символистов — не только Блока и Белого — к староверам, к хлыстам и скопцам. Уже значительно позднее один из наиболее мудрых столпов русского символизма — Вячеслав Иванов — писал о религиозном экстазе и мистической одержимости: «К исконным формам религиозного опыта принадлежит состояние близкой к безумию восхищенности и охваченности Богом — душевное событие, которое на время расщепляет внутренний мир личности на две эксцентрические сферы. Прежняя воля смолкает, преодоленная и низвергнутая как бы извне проникающей в человека чужой волей. Прежнее 'я' сменяется более могущественным 'я', которое едва ли уже можно назвать человеческим; восхищенный, возвращаясь из своего оглушения к самосознанию, воспринимает его носителя, как проникшее в него божество, и говорит ему 'Ты'. Если дистанция между Богом и человеком остается и после этого грозowego соприкосновения неумаленной, то их взаимоотношение становится после этого качественно чем-то иным, чем-то, что

древние италики называли словом 'religio'*) — чем-то более содержательным и интимным, чем робкая оглядка и благо-разумная предусмотрительность, чем правовая или магическая связанность, награда или принуждение, исходящее от богов. Привступает новый элемент, как зародышевый зачаток того, к чему позднейшая созерцательность стремится под именем 'unio mystica'. Отныне богословской рефлексии дана возможность истолковывать слово 'religio' в более духовном смысле, выводя его из слова 'religare' (соединять)¹³⁷.

У Ключева его хлыстовство, православная мистика, исконные народные представления и выгучка у символистов (а, может статья, и у немецких мистиков, например, у Якова Беме) — сливаются с Общим Делом Федорова и образуют небывалое, даже не органическое, а просто физиологическое единство. Но хлыстовская подоснова сильна, и в чем-то перекликается, в частности, с приведенным выше отрывком из Вячеслава Великолепного. Как уже сказано выше, «Христовщина» — корабль верных: Христом становится всякий — Христос — не только историческая личность, но и явление Богочеловека, не только Иисус Назорей, первый воскресший во плоти в Истории, но и предел духовного возрастания человеческого духа, духа свято- и боготворческого. Так и Богородица — не только историческая Дева Мария: это предел духовного возрастания Женского, Земного начала — начала порождающего, вынашивающего. Отсюда — «хлыстовские» (просторечие: надо — «христовские») Богородицы... Какие-то таинственные нити связывают эти представления хлыстов (а отчасти и народно-православные предания) с гностиками и Востоком. «Христовщина» — предельное возрастание снизу — и дар, ниспосылаемый свыше, в помощь поднимающимся по лестнице духовного творческого подвига-возрастания. «Богородица-землица» — предельное возрастание снизу и дар свыше. У Ключева, как и у русских мистических сект, до физиологической осязательности даны и женское (никогда не девье, всегда — материнское) начало Бого — и духовоплощения, и мужское начало зарождения; два нераздельных и неслиянных начала оплодотворения и плодовываивания — порождения. Наиболее яркий и плотяно-осязательный символ соития этих начал — материнство и нива. Наиболее высокая

*) Буквально — связанность, связь.

цель — *воскрешение*, полное, во плоти, преодоление *смерти*.¹³⁸ И в глубь всего исторического — и лично-единичного, и всеобще-всебытийственного — процесса — — *свобода*, ибо в чем бы был тогда подвиг духовного возрастания, подвиг *вбога-растания* (становление «Христом») — если он не основан на свободном решении свободного человека? Отсюда и гимны хлыстов — и Клюева — свободе.

В 1913 году, как указывалось уже выше, вышла третья книга стихов Клюева — «Лесные были». Наиболее совершенная из его первых книг, она была встречена либеральной, народнической и — особенно — марксистской критикой с открытой враждебностью. «Этого смешения безвкусной выдумки, нарочитой подделки под народность и нагромождения этнографических деталей в третьей книге 'Лесных былей' гораздо больше, чем подлинной поэзии, которой дышет 'Сосен перезвон'», — пишет ныне заслуженно забытый, а некогда небезызвестный критик Чешихин-Ветринский.¹³⁹ Зато группа журнала «Заветы» — будущие левые эсеры и «скифы», — в особенности же Иванов-Разумник, — делают Клюева своим знаменосцем. Зато рождавшийся тогда и становившийся в горделивую позу Адама-первозазывателя вещей и явлений акмеизм-адамизм приветствует поэзию олонецкого Давида, как свою ближайшую союзницу. В программной статье С. Городецкого, как всегда блестящей и пустозвонной, но выражающей мнение всей тогдашней группы акмеистов, много говорится о крушении символизма: «Искупителем символизма явился бы Николай Клюев, но он не символист. Клюев хранит в себе народное отношение к слову, как к незыблемой твердыне, как к Алмазу Непорочному. Ему и в голову не могло бы прийти, что 'слова — хамелеоны'; поставить в песню слово незначущее, шаткое да валкое, ему показалось бы преступлением; сплести слова между собою не очень тесно, да с причудами, не с такой прочностью и простотой, как бревна сруба, для него невозможно. Вздох облегчения пронесся от его книг. Вяло отнесся к нему символизм. Радостно приветствовал его акмеизм».¹⁴⁰ Городецкий, конечно, неправ: мы видели, что первую книгу Клюева ввел в мир Брюсов, мы видели, как отнесся к Клюеву Блок. Правда, к 1913 году отношение Блока к Клюеву стало уже двойственным: «Говорил (Блок, осенью 1913 года, БФ), — рассказывает В. Гиппиус, — об одном недавно выступившем поэте, и

читал места из его писем. 'Ведь вот иногда в нем что-то словно ангельское, а иногда это просто хитрый мужичонка'.¹⁴¹ Но и в дальнейшем Блок весьма интересовался Клюевым, переписывался с ним, высоко его ценил.*) Ценил Клюева и Максимилиан Волошин. Но акмеисты действительно вцепились в те годы в Клюева. В 1912-1913 гг. они были чрезвычайно озабочены привлечением в их ряды народных поэтов. Велик был их интерес и к подлинному фольклору. Орган акмеистов — журнал «Гиперборей» — обещал уделять на своих страницах место «безымянной народной поэзии и современной деревенской песне». В то время, как акмеисты отказывались от литературного общения с Федором Сологубом¹⁴² и символистами, в «Гиперборее» и в анонсах издательства «Цех Поэтов» то и дело мелькают имена Павла Радимова и, особенно, Клюева. Так, в пятом номере «Гиперборей» (февраль 1913) анонсируется книга Клюева «Плясея», никогда не вышедшая, но вошедшая — под названием «Песни из Заонежья» — в соответствующие разделы «Мирских дум», 1916, и «Песнослава», 1919. «Акмеисты буквально взяли на щит Клюева», — злится позднейший советский исследователь «поэзии русского империализма» А. Волков.¹⁴³ И позднее акмеисты и поэты «Цеха» высоко ставили Клюева, хотя и многие из них не слишком хорошо понимали лучшее и своеобычное в его поэзии. Так, акмеист второго призыва, Георгий Адамович, писал в своих «Литературных беседах»: «Это очень большой талант, один из самых больших в современ-

*) Вот несколько записей последующих лет в записных книжках Блока: 1915. 21 октября: Н. А. Клюев — в 4 часа с Есениным (до 9-ти). Хорошо. 25 октября: Вечер «Краса» (Клюев, Есенин, Городецкий, Ремизов) — в Тенишевском училище. 1918. 10 мая: ...стихи Клюева... 11 мая: ...Стихи Клюева от Р. В. Иванова (— Разумника, БФ)... 11 августа: После ухода Клюева заходил Женя Иванов... 12 августа: Утром пришел Р. В. Иванов, с которым мы вместе были в «Земле» и устроили Клюева. 19 сентября: Р. В. Иванов. Разговор о делах и о книге «Против цивилизации», о Клюеве и его отношениях с «Землей» (издательством, в котором выходили книги Блока, Б. Ф.). 4 октября: телефон от Клюева (мямлит о своих стихах). 14 октября: Встреча с Клюевым. 1920. 24 октября: Вечер Клюева в Вольфиле, на который я не пошел. (Александр Блок. Записные книжки 1901-1920. ГИХЛ, 1965, стр. 269, 271, 406, 420, 428, 430, 431, 505).

ной русской поэзии. Но какой фальшью отдает этот талант и как эта фальшь его обесценивает! Сквозь условный мужицкий стиль, который Клюев ревниво и не без труда сохраняет, пробивается иногда чистейшее поэтическое вдохновение, но доходит до слушателя замутненным». ¹⁴⁴

Во всех первых книгах Клюева, наряду с чрезвычайно своеобразными и совершенными стихами, немало строф и целых стихотворений, являющихся либо общими местами поэзии тех лет, либо прямыми реминисценциями из Блока. Так, строки в стихотворении Клюева:

О, изреки: какие боли,
Ярмо какое изнести,
Чтоб в тайники твоих раздолий
Открылись торные пути?
(сборн. «Сосен перезвон»)

сразу же заставляет вспомнить блоковское:

В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.

Есть прямые влияния и более давних песнотворцев. Так, даже не блещущий находчивостью В. Львов-Рогачевский опознал кольцовский строй в клюевских стихах «Безответным рабом», «На отлете» и «Завещание». ¹⁴⁵

Первые книги Клюева сразу же раскупаются, и в том же 1913 году выходит уже второе издание «Сосен перезвона», теперь в издательстве К. Ф. Некрасова. Если в первых книгах и есть элемент ученичества, то и «ученичество» Клюева — крепкое, хорошо и ладно сделанное. И часто, после первых слабых строф, раздражительных и «проходных», не задевающих нашего сознания, поэт дает неожиданно, в самом конце стихотворения, свой образ, свои, только ему присущие слова и интонации, — и все стихотворение, даже слабое его начало, озаряется светом его прекрасного финала.

Неразработанность биографии Клюева вынуждает нас прибегать к обильным цитатам из воспоминаний его современников. Цитатам зачастую противоречивым, и в своих противоречиях — наиболее ценным: ведь живой к живому подходит всегда по-разному... Недаром в нормальной судебной практике подозрительно относятся к мало различающимся

в деталях показаниям двух свидетелей об одном и том же происшествии: подразумевают сговор или рассказ не непосредственного свидетеля, а рассказывающего с чужих слов. Отсюда же и наше стремление не пересказывать показания современников, а, по возможности, заставлять их говорить своим голосом, своими словами: так из пестроты — почти лоскутной — воспоминаний, критических отзывов, пристрастных, но живых оценок — легче воссоздать близкий к подлинному облик поэта и человека — облик Клюева.

Все эти годы Клюев не сидит на месте. То Вытегра, то родная вытегорская деревня, то Поволжье, то северные скиты, то Рязанская губерния,¹⁴⁶ то Москва и Петербург. С собратьями — крестьянскими поэтами Пименом Карповым (тоже хлыстом — «звезднокормчим», к слову сказать), Павлом Радимовым, Сергеем Клычковым — отношения к Клюева натянутые: слишком он им не ровня, слишком не по росту большому русскому поэту Клюеву сам этот ограничительный ярлык: крестьянский поэт... Так, Клычков, например, люто и до бешенства ярого завидовал Клюеву. Ходасевич рассказывает, не называя Клычкова по имени, но очень портретно его описав, что «Х. изнывал от зависти: не давали ему покоя лавры другого мужика, Николая Клюева».¹⁴⁷ Не лучше были отношения и с Павлом Радимовым.

Говоря о непоседливости Клюева, Блок замечает в своем дневнике: «Старообрядчество связано с текучими сектами (и хлыстовством). Отсюда — о творчестве... ..Ненависть к православию...»¹⁴⁸ Это и не мысли Блока: здесь много просто записи слов Есенина. Но это и неверно — в приложении к Клюеву. Клюев — не просто старовер — и не просто хлыст. Вечно мечущийся от православных Соловков или Ферапонтова монастыря к староверам, от староверов — к хлыстам или бегунам, от скрытников и бегунов — к революционным кружкам, и от них — опять к православию, — — Клюев одержим и чрезмерной плотностью, крайней сексуальностью, притом экзальтированным мужеложеством. Великий книголюб и начетчик старообрядского характера, он поражал профессиональных философов и литераторов тончайшим пониманием и огромными знаниями литературы и философии — но писал с орфографическими ошибками и, читая на нескольких иностранных языках, писал французские слова русскими литерами. Обуянный немалой гордыней, знавший хо-

рошо себе цену, писал письма издателям, редакторам и крупным и мелким литераторам в елейном псевдомужицком стиле, с простонародными словесными завитушками и концовками. Правда, как мы увидим дальше, в материальном отношении жилось Ключеву тяжело, и он явно обыгрывал свою «народность» в целях хотя какого-нибудь облегчения своего положения.

Крайний эгоцентризм — и большая сплоченность общин, свободолюбие, доходящее до анархизма — и склонность к деспотизму, особенно в личных отношениях и отношениях семейных, аскетизм — и половая свобода, доходящая до свального греха (особенно у хлыстов), наконец, свободомыслие — и дотошное следование каждой букве писаний своих учителей и пророков, каждому самомалейшему древнему обряду — все это, как уже неоднократно здесь говорилось, свойственно старообрядчеству и хлыстовству.

Весьма эгоцентричен и противоречив и облик Ключева и характер его творчества, Бесконечное приравнение мира как целого к своим органам, «физиологизация» космоса (причем это приравнение — приравнение только к его, Ключева, физиологии и анатомии, и только его самого), представление космоса в качестве внутренней работы органов Бога и — Ключева, — это резко бросается в глаза уже в раннем творчестве поэта. Одним влиянием «христовства» хлыстов или концепций Федорова этого не объяснишь. В начале 20-х гг. Лев Троцкий, упрощенно, но не без остроумия, заметил: «И все это (узорочье ключевского словообраза, БФ) блестит и играет на солнце, а если поразмыслить, то и солнце его же, ключевское, ибо на свете заправски существует лишь он, Ключев, его талант, земля под его ногами и солнце над головой».¹⁴⁹ Этот-то резко выраженный эгоцентризм и толкает Ключева то к православию, то к анархизму, то к аскетизму, то к богохульству. Но все время поэт на привязи: даже богохульствуя, не может он оторваться от религиозных корней жизни. Это особенно важно помнить, читая некоторые вещи поэта — и справедливо возмущаясь ими.

И — трагическое противоречие: как уже говорилось выше, для Ключева основа всего и вся, душа мира — Великое Женское Начало — четвертая Ипостась Божия — София, Мать-сыра земля, Христородица. Правда, не Дева, не Жена, а Мать. Но — женское начало. Осеменяющее,

оплодотворяющее мужское начало — Дух. Дух должен влечься к Душе, началу женскому, а лично Клюева влекло (и влекло по-мужски, вопреки «бабьему», подмеченному в его облике Ольгой Форш) к мужчинам. Об этом можно было бы и не говорить, если бы не отразилось это так сильно в его творчестве... Было такое же и у Леонардо, и у Микельанджело, и у Платона, и, очевидно, у Шекспира. Но никто из них не обожествлял так именно женское, материнское начало. И это, и биографически, и творчески, давало глубокую, незарастающую трещину в душе Клюева: грех.

Но материнское было всегда свято для поэта и для человека-Клюева. Он боготворил и свою мать. И незаживающей долго-долго раной была для него смерть его матери — 19 ноября 1913 года. Стихи, посвященные памяти матери. — а их немало, в том числе замечательные «Избяные песни», — одни из лучших в творчестве Клюева.

«Что такое история? — вопрошает в «Философии Общего Дела» Н. Ф. Федоров: — Чтобы не внести произвола в определение истории, ...нужно сказать, что история есть всегда *воскрешение*, а не *суд*, так как предмет истории *не живущие*, а *умершие*, и чтобы судить, нужно прежде воскреснуть, — хотя бы и не в прямом смысле, — нужно воскресить их, умерших, то есть понесших уже высшую степень наказания, смертную казнь. Но для мыслящих — история есть лишь словесное воскрешение, воскрешение в смысле метафоры; для одаренных воображением история есть воскрешение художественное, для тех же, которые сильнее чувствуют, чем мыслят, история будет поминовением, плачем, или представлением, принимаемым за действительность, то есть самообольщением».¹⁵⁰ И Федоров призывает к *общему делу* всего человечества — духовному подвигу и цели истории: воскрешению всех прежде почивших отцов и братьев наших. И Клюев стремится воскресить свою мать не только художественно, если и не может воскресить всецело и телесно, то ясно представляет это материнское и всеобщее воскрешение:

Покинула гроб долгожданная мама,
В улыбке — предвечность, напевы в перстах...
Треух у тунгуза, у бура — панама,

Но брезжит одно в просветленных зрачках:
Повыковать плуг — сошники Гималаи,
Чтоб чрево земное до ада вспахать,
Леха за Олонцем, оглобли в Китае,
То свет неприступный — бессмертья печать.

Началась война. Будущий коммунист, Городецкий, встретил ее восторженно-патриотически. Писал о «Сретении Царя», причем почти все слова стихотворения из почтительности и благоговения начинал с большой буквы... По свидетельству Вадима Шершеневича¹⁵¹ и Ходасевича, и Клюев «ориентировался направо», и его (и Есенина) Городецкий «возил в Царское Село, в царскую семью, туда, где такой же мужичок, Григорий Распутин, норовил пустить красного петуха сверху. От клюевщины несло распутинщиной». ¹⁵² Что-то верное в этом есть. Ведь недаром на своей четвертой книге стихов — «Мирские думы», вышедшей в 1916 году, даря ее Блоку (в том же 1916 году), Клюев надписал:

«...Головой лягать — мух гонять. Миром думать — смерть попать. Из бесед со старцем Григорием Распутиным». ¹⁵³
Значит, были эти встречи, были и задушевные беседы с Распутиным. Да и в позднейших стихах-признаниях Клюева:

Это я зловещей совою
Влетел в Романовский дом,
Чтоб связать возмездье с судьбою
Неразрывным красным узлом,
Чтоб метлою пурги сибирской
Замести истории след...

(Четвертый Рим, 1922).

И раньше еще: «Меня Распутиным назвали», — начинает он стихи 1918 года. Имя Распутина и «миллионов чарых Гришек» — нередкий гость в клюевских стихах. Не забудем и то, что Распутин был в какой-то мере близок и к хлыстовству... Тут, конечно, дело не в «правизне» Клюева: просто, для коренного мужика, да еще старовера была как-то близка идея «мужицкого царя»: чтобы не было между царем и народом никакого средостения — ни сановников, ни чиновников, ни бар, ни бояр, ни судейских, ни лакейских... А Распутин —

царский советник из мужиков, да еще тасовавший, как колоду карт, министров и высших сановников, казалось, в какой-то мере отвечал этому исконному мужицкому идеалу. А что не был он тем, кем его расписывает либеральная и социалистическая печать, что был он при том отнюдь не примитивен, был умен, — этот факт нельзя отфилософствовать. Об этом свидетельствует отчасти и приведенный выше его афоризм. Интересные воспоминания о Распутине опубликовал известный драматический артист и режиссер Борис Глаголин, человек взглядов весьма далеких от консервативных, скорее — весьма левых: «В моей памяти Распутин продолжает жить как мудрый сибиряк и делегат от своего 'христьянства', обиженного судом, именовавшимся 'скорым и милостивым' в царские времена. Он представляется мне символически, как голос древней Руси, заговорившей своей глубиной, где наш поэт предполагал лишь 'вековую тишину'. Оттуда, где по деревьям, в полях и лесах русские люди ближе к Богу и к самим себе, Григорий Ефимович Распутин чудом добрался до царя, чтобы образумить его наказом летописи о том, что Земля Русская правится Божьей милостью, Пресвятая Богородицы милосердием, всех Святых молитвами, родителей благословением и, последя всех, Государями, но не судьями и воеводами... 'Эти стародавние слова звучали из уст Распутина его собственными, когда он сетовал, как плохо понимают его 'образованные'. Под ними он разумел и чиновников, и богатеев, и придворную клику, всех заодно. 'И чево они знают такое, штоб воеводить над христианским народом?' — недоумевал он...»¹⁵⁴ Так это или не так — неважно. Важно то, что вместе с Распутиным вырвалась из под спуда поддонная Русь. Русь отнюдь не «народническая» и не «славянофильская», а всклоченная, непринаряженная, в смазных сапогах и с тяжким запахом пота и овчины. И мерещилась тогда таким, как Клюев, что-то вроде староверской революции и наступающего тысячелетнего мужицкого царства..

Писал в те годы патриотические стихи и Клюев. Ими полна его книга 1916 года — «Мирские думы». Но патриотические стихи писали тогда и Сологуб, и ...Маяковский. Тщетно было бы замалчивать сейчас подобные стихи «лучшего поэта советской эпохи»: они даны даже в приложении к первому тому тринадцатитомного собрания сочинений поэта. Писал их и Есенин, хотя он и говорил потом И. Н. Роза-

нову, как «ему (Есенину, БФ) всегда не по душе был воинственный патриотизм Клюева, что это ничем не лучше нашей господствующей церкви, благословляющей убийства».¹⁵⁵ Все это, впрочем, писано уже во второй половине двадцатых годов, рассказано — в начале двадцатых, когда Есенин гримировался под «первого на Руси дезертира». А в годы войны писал патриотические стихи, бывал в царской семье, где читал стихи и пел народные песни... Свидетельства современников редко бывают бескорыстными...

В годы войны и началась дружба Клюева с Есениным. «Городецкий свел меня с Клюевым, о котором я раньше не слышал ни слова, — рассказывает в одной из своих автобиографий Есенин. — С Клюевым у нас завязалась, при всей нашей внутренней распре, большая дружба, которая продолжается и посейчас, несмотря на то, что мы шесть лет друг друга не видели».¹⁵⁶ Что Есенин «не слышал ни слова» о Клюеве до знакомства личного с ним, опровергается его же, Есенина, перепиской. Так, незадолго до встречи с Клюевым, Есенин писал ему: «Дорогой Николай Алексеевич. Читал я Ваши стихи, много говорил о Вас с Городецким и не могу не писать Вам. Тем более тогда, когда у нас есть с Вами много общего. Я тоже крестьянин и пишу так же, как Вы, но только на своем рязанском языке. Стихи у меня в Питере прошли успешно. ...Я хотел бы с Вами побеседовать о многом, но ведь 'через быстру реченьку, через темный лесок не доходит голосок'. Если Вы прочитаете мои стихи, черканите мне о них. ...В 'Красе' я тоже буду...»¹⁵⁷ Письмо это датировано редакторами Собрания сочинений Есенина: Петроград, 24 апреля 1915. Клюев сразу же откликнулся на это письмо:

«Милый братик, почитаю за любовь узнать тебя и поговорить с тобой.. Если что имеешь сказать мне, то пиши немедленно... Особенно мне необходимо узнать слова и сопоставления Городецкого, не убавляя, не прибавляя их. Чтобы быть наготове и гордо держать сердце свое перед опасным для таких, как мы с тобой, соблазном. Мне много почувствовалось в твоих словах, продолжи их, милый, и прими меня в сердце свое».¹⁵⁸

Еще до личной встречи с Есениным, Клюев «забрасывает его ответными письмами», как пишет Е. Наумов.¹⁵⁹ Письма Клюева в С. Константиново — С. Есенину — датированы 2 мая, 9 июля и 6 сентября 1915 г.

«Я смертельно желаю повидаться с тобой — дорогим и любимым, и если ты ради сего имеешь возможность приехать, то приезжай немедленно, не отвечая на это письмо...»¹⁶⁰

Клюев стремится оберечь Есенина от влияния петербургских литературных кругов:

«Голубь мой белый... .. Ведь ты знаешь, что мы с тобой козлы в литературном огороде и только по милости нас терпят в нем и что в этом огороде есть немало ядовитых колючих кактусов, избегать которых нам с тобой необходимо для здоровья как духовного, так и телесного... Мне очень приятно, что мои стихи волнуют тебя, — конечно, приятно потому, что ты отгулева, где махотка, шелковы купыри и (*неразборчиво*) колки. У вас ведь в Рязани — пироги с глазами, их ядят, а они глядят. Я бывал в вашей губернии, жил у хлыстов в Даньковском уезде, очень хорошие и интересные люди, от них я вынес братские песни... Бога ради, не задержи, ответь. Целую тебя, кормилец, прямо в усики твои милые».¹⁶¹

Есенин что-то учуял, очевидно, в некоторых письмах Клюева, что не пришлось ему по душе. В письме к В. С. Чернявскому (июнь-июль 1915) он пишет: «Писал Клюев, но я ему отвечать не собираюсь».¹⁶² «А осенью этого же (1915, БФ) года, — пишет Есенин в одной из автобиографий, — Клюев мне прислал телеграмму в деревню и просил меня приехать к нему».¹⁶³ 6 сентября 1915 года Клюев пишет Есенину:

«Я пробуду в Петрограде до 20 сентября. Хорошо бы устроить с тобой где-либо совместное чтение...»¹⁶⁴

В своих воспоминаниях 1926 года Городецкий рассказывает: «Клюев приехал в Питер осенью (уже не в первый раз). Вероятно, у меня он познакомился с Есениным. И впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы. История их отношений с того момента и до последнего посещения Есениным Клюева перед смертью — тема целой книги. Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам севера, Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время. Он был лучшим выразителем той идеалистической системы, которую несли все мы. Но в то время как для нас эта система была литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отно-

шения к миру. Будучи сильнее всех нас, он крепче всех овладел Есениным. У всех нас после припадков дружбы с Клюевым бывали приступы ненависти к нему. Но общность философии опять спаевала. Популярная тогда рукописная книга т. Б. 'Правда о Клюеве', к сожалению, разбивала ореол Клюева не по линии философии. Приступы ненависти бывали и у Есенина. Помню, как он говорил мне: 'Ей Богу, я пырну ножом Клюева!' Тем не менее, Клюев оставался первым в группе крестьянских поэтов. Группа эта все росла и крепла. В нее входили, кроме Клюева и Есенина, мой сосед по камере в Крестах, ученик и друг Борис Верхоустицкий, Сергей Клычков и Александр Ширяевец...¹⁶⁵ Кроме меня, верховодил в этой группе Алексей Ремизов и не были чужды Вячеслав Иванов и художник Рерих... Я называл всю эту компанию 'Краса'. Общее выступление было у нас только одно, в Тенишевском училище — вечер 'Краса'. Выступали: Ремизов, Клюев, Есенин и я. Есенин читал свои стихи, а кроме того пел частушки под гармошку и вместе с Клюевым — страдания...¹⁶⁶ ...В общем, 'Краса' просуществовала недолго. Клюев все больше оттягивал Есенина от меня. Кажется, он в это время дружил с Мережковскими, моими 'врагами', вероятно, там бывал и Есенин...¹⁶⁷ Группа «Краса» замышляла даже организацию собственного издательства, но из этой затеи ничего не вышло. Книги членов «Красы» выходили в издании «Альционы», Аверьянова, Некрасова и др.

Вечер группы поэтов и прозаиков «Краса» состоялся 25 октября 1915. В. С. Чернявский рассказывает, что «в основу этого нарочито 'славянского' вечера была положена погоня за народным стилем, довольно приторная. Этот пересол не содействовал успеху вечера: публика и печать не приняли его всерьез, и искусственное объединение 'Краса' с этих пор само собой заглохло».¹⁶⁸ Сильно шаржированное описание этого вечера (перенесенного только запомнимавшим автором в другое место) дает Георгий Иванов, упорно при этом именующий Клюева «Николаем Васильевичем»:

«На эстраде — портрет Кольцова, осененный жестяным серпом и деревянными вилами. Внизу — два 'аржаных' снопа (от частого употребления порядочно растрепанных) и полотенце, вышитое крестиками. Фон декорирован малороссийской плахтой из кабинета Городецкого. Этим смягчается 'интеллигентское безличие' эстрады и создается настроение,

близкое к 'стихии'. Должно быть, чтобы еще ближе перенести слушателей в обстановку русской деревни, — обычный распорядительский колокольчик отменяется. Вместо него — какой-то не то гонг, не то тимпан. С бубенцами... Городецкий выходит на эстраду и ударяет в этот тимпан. Вид у него восторженно сияющий, ласково-озабоченный. Кудри взерошены. Голубая или 'алая' косоворотка.. Внимательный глаз различит под косовороткой очертания твердого пластрона — это значит, что, после вечера, надо ехать в изящный клуб, где любит ужинать 'Нимфа' (жена Городецкого, БФ), и рубашка надета для скорости обратного переодевания поверх крахмального белья и черного банта смокинга. Городецкий ударяет в свой 'тимпан' и приглашает к вниманию. Свет гаснет. Только эстрада с Кольцовым и снопами — в ярком блеске рефлекторов. ...Зеленая плахта с малиновыми разводами откидывается. Выходит Есенин. На нем тоже косоворотка — розовая, шелковая. Золотой кушак, плисовые шаровары. Волосы подвиты, щеки нарумянены. В руках — о, Господи, пук васильков — бумажных. ...Выходит, наряженный коробейником из хора, Клычков. Читает нараспев — как оперные слепцы.. Николай Клюев... Клюев спешно обдергивает у зеркала в распорядительской поддевку и поправляет пятна румян на щеках. Глаза его густо, как у балерины, подведены. Морщинки (Клюеву лет сорок) вокруг умных, холодных глаз сами собой расплываются в деланную сладкую, глуповатую улыбочку.

— Николай Васильевич, скорей!..

— Идуу... — отвечает он нараспев и истово крестится. — Идуу... только что-то боязно, братишечка... Ну, была не была — Господи, благослови... — Ничуть ему не 'боязно' — Клюев человек бывалый и знает себе цену. Это он просто входит в роль 'мужичка-простачка'. Потом степенно выплывает, степенно раскланивается 'честному народу' и начинает истово, на ó:

Ах, ты, птица райская,
Дребезда золотоперая...»¹⁶⁹

В те же годы, журналчик «Рудин», издававшийся полупочтенным профессором Рейснером и его красавицей дочкой Ларисой, поместил карикатуру А. Топикова на группу «Краса», изобразив райское древо с райскими птицами — у птиц

— карикатурные лица Городецкого, Клюева, Есенина и других...

Вслед — или наряду с нею — за безвременно скончавшейся «Красой» возникает, по инициативе Михаила Мурашова и Иеронима Ясинского литературное объединение «Страда». Мурашов рассказывает об этом: «В 1915 году мне с трудом удалось провести устав литературно-художественного общества под названием 'Страда'. Есенин предлагал назвать 'Посев', но потом отказался от предложенного названия. Организационное собрание общества состоялось в квартире С. Городецкого. Были Есенин, Клюев, Пимен Карпов, Иер. Ясинский, Ремизов и др.». Мурашов сообщает, что предполагалось издание журнала «Страда», вместо которого был выпущен одноименный сборник (в нем — две «Избятные песни» — памяти матери — Н. Клюева.)¹⁷¹

Иероним Ясинский, начиная с 1914 года, много печатал Клюева в газете «Биржевые Ведомости»,*) помогал ему печататься и в других журналах и газетах. Он помогал Мурашову и в организации общества «Страда» и был инициатором издания одноименного альманаха. «Во главе его стоял меценат Семеновский, но главным вдохновителем и редактором ...был Ясинский. ...Недалеко от Технологического института было небольшое помещение, на дверях его красовалась надпись — 'Страда'. Это и был клуб, где собирались участники общества 'Страда', выступавшие со своими произведениями. ...Но, как это случается, сотрудники не ладили с редактором, а тот с меценатом, и, к огорчению всех, альманах 'Страда' прекратил свое существование. Вслед за ним распалось общество 'Страда' и закрылся клуб».¹⁷²

Выступления Клюева и Есенина, театрализованные Городецким, встретили у части публики весьма благожелательное, а у части публики и литераторов либо настороженное, либо насмешливое отношение. «Новые артисты подвизаются на арене литературного балагана: Клычков, Клюев, Есенин, Ширяевец. Публике нашей, пресытившейся модернизмами, эстетизмами и футуризмами, нужна новая забава; забаву эту она найдет в сусальном лживом народничестве Городецкого и братии, кстати, так безупречно патриотически настро-

*) Переписка Клюева по поводу его публикаций в «Биржевых Ведомостях» — в статье Г. Мак-Вэя.

енных», — писал марксистский критик Михаил Левидов.¹⁷³ А другой литератор, Н. Лернер, назвал свою статью о Клюеве и Есенине насмешливо и зло: «Господа Плевицкие»...¹⁷⁴

Но далеко не все воспринимали так выступления Клюева и Есенина. Кроме открытого выступления «Красы» 25 октября 1915 г., Клюев и Есенин выступали и в литературных салонах тогдашнего Петербурга, читали свои стихи и в редакциях журналов. Так, 21 октября того же года, за четыре дня до выступления в Тенишевском училище, Клюев и Есенин выступили в редакции «Ежемесячного Журнала». Дневниковая запись писателя Б. А. Лазаревского рассказывает об этом чтении поэтами своих стихов: «Великорусский Шевченко — это Николай Клюев... Начал он читать негромко, под сурдинку, басом. И — очаровал. Проникновеннее Некрасова, сочнее Кольцова. Миролубов (редактор журнала, БФ) плакал... чуть не заплакал и я. Не чтение, а музыка, не слова, а Евангелие... Как нельзя перевести Шевченко ни на один язык, даже на русский, сохранив все нюансы, так нельзя перевести и Клюева... Затем выступил его товарищ Сергей Есенин. ...В четверть часа эти два человека научили меня русский народ уважать и, главное, понимать то, чего я не понимал прежде — музыку слова народного и муку русского народа — малоземельного, водкой столетия отравленного..., и вот мысль этого народа и его талантливые дети Клюев и Есенин».¹⁷⁵

Выступали Клюев с Есениным и в Москве. Бывшая жена Есенина, А. Р. Изряднова, пишет: «В январе 1916 года (Есенин, Б. Ф.) приехал с Клюевым. Сшили они себе боярские костюмы — бархатные длинные кафтаны... Читали они стихи в лазарете имени Марии Федоровны, Марфо-Марьинской обители и в 'Эстетике'. В 'Эстетике' на них смотрели, как на диковинку»...¹⁷⁶ На вечере в «Эстетике» присутствовал проф. И. Н. Розанов: «21 января 1916 года я узнал, что в Москву приехал Николай Клюев и вечером будет выступать в 'Обществе свободной эстетики'. Я не очень любил это 'Общество' и почти там не бывал, но Клюева мне хотелось послушать и посмотреть. Уже года четыре, как он обратил на себя всеобщее внимание. Он уже успел выпустить три книги стихов, и я был им очень заинтересован. Легко сказать: из глубины народной гущи являлся поэт, который вел себя не как самоучка и недоучка, рассчитывающий на более снисхо-

дительную оценку, а как равный по отношению к другим, уже прославленным поэтам, чувствующий свою силу и властно требующий от поэтов из интеллигенции потесниться... Наконец, раздался шёпот: 'Приехал.' ...И вот между пиджаками, визитками, дамскими декольте твердо и уверенно пробирается Николай Клюев. У него прямые, светлые волосы; прямые, широкие, спадающие, 'моржовые' усы... Он в коричневой поддевке и высоких сапогах... ..Сосед мой слева, поклонник Тютчева, одобрял Клюева: 'Какая образность! Например: 'Солнце — колокол'... ..Другой поэт, деревенский парень (С. Есенин, БФ), ему не понравился...». Читал Клюев сначала «большие стихотворения, что-то вроде современных былин, потом перешел к мелким, лирическим. Помню, как читал он свой длинный 'Беседный наигрыш, стих доброписный'. Содержание было самое современное:

Народилось железное царство
Со Вильгельмищем, царищем поганым...

..Клюев поражал своею густою красочностью и яркой образностью»... Есенин не понравился и соседке Розанова — художнице: когда Клюев, после выступления, подошел к ней и спросил (они раньше были знакомы): «Ну, как?», — художница ответила: «Ваш товарищ мне совсем не понравился». Клюев огорчился: «Как? Такой жавороночек?» «И в тоне Клюева послышалась ласковость к своему 'сынку'», — прибавляет И. Н. Розанов.¹⁷⁷

Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил, —

рассказывал о тех временах Есенин. Клюев тогда почти не расставался с своим «Сереженькой»: «Я помню Есенина, — рассказывает Г. Адамович, — в первые дни его появления. Он приехал из рязанской глуши, прямо к Блоку, на поклон. Его сопровождал Клюев. ...От Клюева Есенин перенял манеру говорить всем 'ты', будто по незнанию, что в городе это не принято».¹⁷⁸

У Вячеслава Иванова — и у Мережковских, у Иванова-Разумника — и у Городецкого, в Царском Селе у царицы — и в кругу будущих левых эсеров — Клюев и Есенин приняты

всюду. Правда, как уже было сказано, Мережковские вскоре разочаровались в Клюеве: он их ошарашил густой и терпкой поэзией, вовсе непохожей на привычную петербургскую. Он и не соответствовал классическому интеллигентски-народническому представлению о «мужике-богоносце»: слишком уж не простяк, слишком с надломом: и хладен, и елеен, и с хитрецей — и умен с избытком: какое уж тут «смиренномудрие»!

Но и в Москве у Клюева появились поклонники. В частности — Андрей Белый. Говоря об исконности, органичности и крепких, глубоко в почву уходящих корнях купецко-московской культуры, о ее неразрывной связи с мужицкими истоками, он указывает, что все московские тузы-богатеи, как бы утонченны они ни были — «все — Горшковы; все выперли из простейших горшков, где земляца с навозцем; перением выперли барство арбатское; перли они хорошо; и в хорошие цветы расцвели; ...дальнейшее пропирание Горшковых через понятие отвлеченное западной экономики 'капиталистического производства' подобно пропиранию крестьянски-рабочих поэтов уже 'октября' ...жестами лирика К л ю е в а , 'баобабы' выращивающим в Вологодской губернии; ...а мужик есть явление очень странное даже: лаборатория, претворяющая ароматы навоза в цветы; под Горшковым, Барановым, Мамонтовым, Есениным, Клюевым, Казиным — русский мужик; откровенно воняет и тем, и другим: и — навозом, и розою — в одновременном 'хаосе'; мужик — существо непонятное; он — какое-то мистическое существо...; из целин матерщины, из вони Горшкова бьет струйная эвритмия словес...»¹⁷⁹ А сколько славословий Клюеву писал Андрей Белый в первые годы революции! Мы видели, что крестным отцом Клюева в литературе был другой крупнейший московский символист — Валерий Брюсов.

Из крупных писателей предреволюционных дней не принял никак Клюева отставной властитель дум передовой интеллигенции Максим Горький. В 1913 году он писал молодому крестьянскому поэту Д. Семеновскому: «А вот, что Вам нравятся стихи Клычкова, Клюева и подобных им, — весьма даровитых, но мало серьезных и еще не поэтов, — это плохо, простите меня. Очень плохо...»¹⁸⁰ И уже много позже, советский литературовед Н. Славягинский в своем письме М. Горькому заявил о реакционном характере всех

попыток Клюева и Клычкова опереться на фольклор. Горький сделал на этом письме пометку: «Очень верно!»¹⁸¹

«Крестьянские» поэты (название, конечно, крайне условное, а в отношении Клюева просто неверное) отлично сознавали, что их легко можно упрекнуть в «реакционной обращенности к прошлому», в умышленном маскараде, во многих грехах и прегрешениях, особенно с точки зрения фанатиков прогресса, и хотя их художественное словотворчество и их помыслы были вовсе не «обращенностью к прошлому», а поисками выхода из обездушенного мира всецелой механизации, они все-таки выступали на защиту и этого чувства тоски по уходящему. А. Ширяевец писал В. Ф. Ходасевичу, 7 января 1917 г.: «Скажу кое-что в свою защиту. Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет? И что прекраснее: прежний Чурила в шелковых лапотках, с припевками, да присказками, или нынешнего дня Чурила, в американских щиблетах, с Карлом Марксом или 'Летописью'*) в руках, захлебывающийся от открывающихся там истин?.. Ей-Богу, прежний мне милее!.. Знаю, что там, где были русалочки омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола, со всеми удобствами, но мне все же милее омуты, а не купальни... Ведь не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков! Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно 'лозунгами' ...Пусть уж о прелестях современности пишет Брюсов, а я поищу Жар-Птицу, пойду к тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем... Придет предприимчивый человек и построит (уничтожив мельницу) какой-нибудь 'Гранд-Отель', а потом тут вырастет город с фабричными трубами... И сейчас уж у лазоревского плеса сидит стриженная курсистка, или с Вейнингером в руках, или с 'Ключами счастья'. ...Может быть, чушь несу я страшную, это все потому, что не люблю я современности океанной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житье

*) «Летопись» — журнал Максима Горького, марксистского направления (1916-1917).

на свете?...»¹⁸² Читаешь это письмо Ширияевца (говорящее и о настроениях Клюева, конечно) — и невольно вспоминается лесковское: «Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость!»¹⁸³

Сгинь, перо и вурдалак-бумага!
Убежать от вас в суслонный храм,
Где ячменной наготой Адам
Дух свежит, как ключ в глуши оврага, —

пишет в те годы Клюев. И его костюм, его облик, его повадки, обстановка жизни, наконец, — далеко не то же самое, что желтая кофта футуристов или «голубые цветки» окололитературных и околотеатральных салонов предреволюционных лет. Томление по сказке, стремление претворить несуразную, непутевую, какую-то грешно-взбаломученную жизнь — в творимую сказку, легенду, в сказание, в мужицкий Христов корабль. Да, не только маскарад, хотя элементы маскарада бросаются первыми в глаза.

А тут ревнивая страсть к Есенину: в статье Гордона Мак-Вэя приводятся и письма, рассказываются и сцены бешеной ревности Николая Клюева, когда он выл волчьим воем, уговаривая Есенина не идти к женщине, не бросать его, старшего братика... Есенин и отбивался от приступов клюевской страсти, но, судя и по письмам его, и по многим еще косвенным указаниям, как-то поддавался напористым клюевским домогательствам. Затем отшатывался от Клюева, готов был его прирезать, но потом опять тянулся к нему...

Притягивала к Клюеву и его воля, и его власть играла большую роль — и огромный поэтический дар, густой, очень уж непрозрачный настой — никак не укладывающийся в привычные нормы стихосложения. Конечно, и Есенин понимал, что очень пестро и очень неравноценно многое в творчестве его властного и ревнивого опекуна, много просто лигатуры, но зато и червонного золота россыпи немалые. «Не всегда относясь к Клюеву положительно, подымая иногда бунт против его авторитета и философии, — весьма кротко и уклончиво рассказывает в опубликованной части своих воспоминаний В. С. Чернявский (многое расшифровывают и поясняют исключенные советской цензурой места, приве-

денные в следующей за этой статье Г. Мак-Вэя), — инстинктивно упрямо стремясь отстоять и утвердить свою личную самобытность, Есенин почти благоговел перед Клюевым как поэтом. В часы, когда тот читал с большим искусством свои тяжелые, многодумные, изощренно-мистические стихи и 'беседные наигрыши', Сергей не раз молча указывал на него глазами, как бы говоря: вот они, каковы стихи!... ..О конечной судьбе этих неустойчивых, как многое в жизни Сергея, отношений свидетельствует фраза из письма его ко мне, написанного из Тифлиса за год до смерти: 'Если бы у меня не было... Клюева, Блока ...что бы у меня осталось? Хрен да трубка, как у турецкого святого'.»¹⁸⁴ И в стихах Есенина, посвященных Клюеву: то огромное тяготение, то люта зависть и ревность к славе (у Клюева тогда много бóльшей, чем есенинская тогдашняя популярность), то всяческое приращение «старшого», то прямая ненависть к нему.

Когда Есенина мобилизовали, Клюев тосковал страшно. Но и Есенин тянулся к нему. В июле или августе 1916 г. он писал из Царского Села Клюеву: «Дорогой Коля, жизнь проходит тихо и очень тоскливо. На службе у меня дела не важат. В Петроград приедешь, одна шваль торчит. Только вот вчера был для меня день, очень много доставивший. Приехал твой отец, и то, что я вынес от него, прямо-таки передать тебе не могу. Вот натура — разве не богаче всех наших книг и прений? Все, на чем ты и твоя сестра ставили дымку, он старается еще ясней подчеркнуть, и для того только, чтоб выдвинуть помимо себя и своих желаний мудрость приемлемого. Есть в нем, конечно, и много от дел мирских с поползновением на выгоду, но это отпадает, это и незаметно ему самому, жизнь его с первых шагов научила, чтоб не упасть, искать видимой опоры. Он знает интуитивно, что когда у старого волка выпадут зубы, бороться ему будет нечем, и он должен помереть с голоду... Нравится мне он...» Но, переходя к относительной известности его, Есенина, и Клюева, Есенин не без торжества рассказывает в конце письма, как «дед», то есть отец Клюева, говорил ему про рецензии и статьи об обоих поэтах: «Дед-то мне показывал уж и какого размера, ды все, говорит, про тебя сперва, про Николая после чтой-то». И Есенин заканчивает письмо: «Приезжай, брат, осенью во что бы то ни стало. Отсутствие твое для меня заметно очень, и очень скучно. Главное то, что одиночество

круглое. Как я вспоминаю пережитое... Вернуть ли?»¹⁸⁵ Клюев, конечно, откликнулся на призыв своего «жавороночка». Из письма последнего Леониду Андрееву (20 октября 1916) видно, что они с Клюевым побывали у А. М. Ремизова, посетили — но не застали — Леонида Андреева.¹⁸⁶ Круг знакомых у поэтов в эти годы большой. Но не все их «приемлют». Так, неоднократно нами цитированный поэт и артист В. С. Чернявский рассказывает, что «целая группа царскосельских поэтов ультимативно отказалась участвовать в изящном 'Альманхе Муз' (начало 1916 г.), если на страницы его будут допущены 'кустарные' Клюев и Есенин. Клюев, — прибавляет Чернявский, — однако, еще раньше печатался в 'Типерборее' (органе Цеха Поэтов), его изощренная глубинность и формальная узорчатость находили себе больше защитников».¹⁸⁷

Несмотря на успех — а иной раз и восторженное отношение к ним некоторых представителей литературных и окололитературных кругов, поэтам в материальном отношении жилось весьма трудно. Стихи, как и всегда и везде почти, не кормили — или кормили весьма плохо. В «Деле» Клюева (1916, № 8), находящемся в бумагах Постоянной комиссии для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам при Императорской Академии Наук за 1916 г., хранятся прошение С. Есенина и Н. Клюева, написанное рукой последнего, но подписанное обоими поэтами, и совместное письмо поэтов (также написанное рукою Клюева — и подписанное совместно с Есениным) к Н. А. Котляревскому:

В комиссию для пособия литераторам при Академии наук
Прошение

Мы поэты-крестьяне, Николай Алексеевич Клюев и Сергей Александрович Есенин, почтительнейше просим комиссию пособия литераторам при Академии наук помочь нам в нашей нужде. Нужда наша следующая: мы живем крестьянским трудом, который безденежен и, отнимая много времени, не дает нам возможности учиться и складывать стихи. Чтобы хоть некоторое время посвящать писательству не во вред и тяготу нашему хозяйству и нашим старикам-родителям, единственными кормильцами которых также являемся мы,

нам необходима денежная помощь в размере трехсот рублей на каждого.

(Заслуги наши перед литературой выражаются в сборниках стихов и сотрудничестве в лучших журналах и газетах).

Подпись: Николай Клюев

Сергей Есенин

Адрес: Петроград, Фонтанка, дом № 149, кв. № 9.

На прошении в левом верхнем углу дата: 27 февраля 1916 г. На полях той же рукой написано: «В 1-й раз» и обозначена выданная сумма: 60 р.; и указано: «Есен. 20, Кл. 40».

Письмо литературоведу, проф. Н. А. Котляревскому:

Глубокоуважаемый Нестор Александрович, Сообщение Ваше о том, что Академия не может нам помочь, ввергло нас в уныние. Последнее, что мы почтительнейше у Вас просим — это походатайствовать перед комиссией, чтобы нам выдали хотя бы по 50-60 р., чтобы выбраться из Петрограда домой — мне — Клюеву, например, такая сумма крайняя, так как я живу пятьсот верст от чугулки, и это полутысячное расстояние приходится коротать на подводе.

Бога ради снизойдите к нашему молению, оно насущное и крайнее.

Извиняясь за беспокойство, остаемся

Николай Клюев и Сергей Есенин.

Фонтанка 149-9.

Запись в журнале заседания комиссии, 26 сентября 1916, — о Клюеве: «Приехав в Петроград для издания своих произведений и не имея средств для найма комнаты и для прожития, просит 150 руб., дабы иметь возможность устроить свое издание не бедствуя». Постановлено «выдать 75 руб. бесср. (очной) ссуды (большинством голосов)».

В самом начале 1916 года вышла уже упомянутая ранее книга стихов Клюева «Мирские думы». В книге немало патриотических стихов поэта, но назвать ее «империалистической» могли только те советские недоумки, которые бедняка-Клюева произвели в «идеолога кряжистого и заскорузлого

кулачества,» в прославителя и выразителя дум «деревенских богачей». Книга открывается стихами столь далекими от «империалистических настроений», что диву даешься — как можно было заговорить об этом (правда, уже спустя немало лет):

В этот год за святыми обеднями
Строже лики и свечи чадней,
И выходят на паперть последними
Детвора да гурьба матерей.
На завалинах рать сарафанная,
Что ни баба, то горе-вдова;
Вечерами же мглица багряная
Поминальные шепчет слова.

Может быть, только одно стихотворение этой книги, и то с натяжкой, может быть названо «казенно-патриотическим» — «Русь» («Не косить детине пожен»). Оно скорее находится под сильнейшим влиянием стихов старого славянофильского лагеря, Хомякова в первую голову. В период наибольшей травли уже загнанного в Нарым поэта, в 1935 году, некий А. Волков, опираясь на это стихотворение, причислял Клюева — наряду с Мандельштамом — к числу наиболее ярко выраженных русских «империалистов»: «В стихотворении 'Русь', — пишет А. Волков, — относящемся к периоду мировой войны, расшифровывается социальный смысл народности Клюева... Поэзия Клюева целиком входит в общий стиль империалистической литературы, представляя собой одну из ветвей этого стиля»... Клюев, видите ли, идеолог кулачества, «нашедший свое место под столыпинским солнцем». ¹⁸⁹ Ну, а другие стихи книги — о матерях, оплакивающих погибших на войне сыновей-солдат, солдаток-вдов, «слезные платы» — все это в расчет не принималось...

А железо проклято от века:
Им любовь пригвождена ко древу...

Но в те годы, годы предреволюционные, «Мирские думы» принимаются и читателями, и критиками почти безоговорочно: Клюев величина уже общепризнанная... Критическая заметка будущего правоверного коммуниста, поэта и критика Натана Венгрова начинается утверждением, что «за четыре года поэт прошел большой путь и трудно узнать в

Клюеве 'Мирских дум' Клюева 'Сосен перезвона'. Чужой символизм стихов, посвященных Александру Блоку, — ...уступил место крепким образам, уже несомненно принадлежащим или Клюеву или тому, чем жив Клюев теперешний». ¹⁹⁰ «Клюев — явление небывалое в нашей поэзии, — пишет по поводу «Мирских дум» Иванов-Разумник в «Русских Ведомостях». А в распространеннейшем в дореволюционной России журнале — в «Ниве», в ежемесячных приложениях к ней, З. Бухарова посвящает «Думам» восторженную статью: «...Мы так долго жили в недостойном рабстве у Запада, что совсем еще недавно все национальное должно было великим трудом пробивать себе дорогу... ..На благодарную, подготовленную почву пало в настоящие дни творчество Николая Клюева — самого талантливого, мудрого и цельного из ...поэтов-крестьян, стоящих совершенно в стороне от всех столь противоречивых литературных течений последнего времени. 'Мирские думы' обвеяны духом чрезвычайной значительности, духом исключительного, сосредоточенного единства...» ¹⁹¹

Много в «Мирских думах» песен, написанных по типу народных плачей и причитов. На связь этих стихов с народными плачами указывалось неоднократно, в частности, М. А. Рыбниковой, пытавшейся установить чуть ли ни прямую зависимость «плачей» Клюева от причитаний знаменитой плачехи Ирины Федосовой: ведь и мать поэта была плачехой. ¹⁹² В «Причитаниях Северного края» можно, действительно, найти не одну параллель стихам из «Мирских дум»:

И створят да тут рекрутика молодцы:
«Уж Ты Спас да наш Владыко многомилостивой!
«И Ты спаси нас безсчастных добрых молодцев
«И Ты от этоей от меры государевой!
«И Ты Покров Мать Пресвятая Богородица!
«И Ты покрой да нас рекрутиков молодых
«И от злодейской Ты службы государевой!» ¹⁹³

Это, как и у Клюева, отнюдь не «урашапкамизакидайство», а скорее напротив: глубокая мужицкая скорбь: от земли отрывают! — и общечеловеческая боль — нежелание войны, как смерти, губительства, меча и брани.. Формально: стихи Клюева — не имитация народной поэзии, не бедность своего личного творчества, подменяемого этнографическими сти-

лизациями. Клюев — сам народ. Не приглаженный под светлую моральную величину, не припомаженный под велемудрое смиренномудрие, но могущий надеть любую из этих личин, а, может, и искренне иной раз стремящийся и к нравственной чистоте и духу терпения и любви. И тут же — склонный и к непомерной гордыне, и к самым глубочайшим падениям, к самому непомерному блуду. Достигающий вершин поэтического мастерства и самых глубин поддонных нашей души, — и тут же способный на самый грубый лубок — много хуже агиток Демьяна Бедного. Отсутствие вкуса? Нет, скорее — некоторый чрезмерный эгоцентризм и самовлюбленность: непривычка к о т б о р у. И еще: хлыстовское: «накатило», — значит, и пой, и проповедуй: все от Бога... И во всем этом — Клюев народен и органичен. Даже и в своих метаниях от Вбогаврастания до самого гнусного сатанинского мистического блуда: нет узды и нет никакого удержу: все позволено. А потом — покаяние и стыд. Но и самые далекие от привычной и общепринятой морали устремления облакаются в некие теургические (это тоже — не без влияния хлыстовства!) ризы — и принимают миротворческие формы:

Будет брачная ночь, совершение таин,
Все пророчества сбудутся, камни в пляску пойдут,
И восплачет над Авелем окровавленный Каин,
Видя полночь ресниц, виноград палых уд. ...
..И Единое око насытится зреньем
Брачных ласк и зачатий от ядер миров,
Лавой семя вскипит, изначальным хотеньем
Дастся солнцу — купель, долу — племя богов. ...

Конечно, вопрос о происхождении никак нельзя связывать с вопросом оценки, и поэтическая идея этого стихотворения шире, глубже и выше породившего его устремления, но все-таки оно никак не случайно, это стихотворение, посвящено Виктору Шиманскому. А когда произошел очередной разрыв с Сергеем Есениным, Клюев разразился целым циклом причитов-заплачек:

...Белый цвет-Сережа,
С Китоврасом схожий,
Разлюбил мой сказ! ...

...Как к причастью звоны,
Мамины иконы,
Я его любил.
И в дали предвечной,
Светлый, трехвенечный,
Мной провиден он.
Пусть я некрасивый,
Хворый и плешивый,
Но душа, как сон. ...

И, уйдя от Клюева (стихотворения эти написаны в конце 1916 или в самом начале 1917 года), Есенин убил его, как Годунов убил Дмитрия Царевича:

Тяжко, светик, тяжело!
Вся в крови рубашка...
Где ты, Углич мой?...
Жертва Годунова,
Я в глуши еловой
Восприму покой. ...

Когда впоследствии Есенин писал в своих стихах про Клюева:

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь, —

едва ли он имел в виду только тяжкую образность и микулинскую земную непомерную тягу Клюева-поэта, его поступь Святогора-сказителя: нет: думается, что тут — и о темной стихии страстей Клюева-человека. Да и можно ли разорвать в поэте — творца и человека?

«Весну и лето 16-го года я мало виделся с Клюевым и Есениным. Знаю, что они уже выступали в это время по салонам, — рассказывает С. М. Городецкий. — Осенью 16-го года я уехал в Турецкую Армению на фронт. В самый момент отъезда, когда я уже собирал вещи, вошли Клюев и Есенин. Самое неприятное впечатление осталось у меня от этой встречи. Оба поэта были в шикарных поддевах, со старинными крестами на груди, очень франтовитые и самодо-

вольные. Все же я им обрадовался, мы расцеловались и, после мироточивых слов Клюева, попрощались. Как оказалось, надолго...»¹⁹⁴

В эти годы то и дело возникают недолговечные организации литераторов неославянофильского типа и поэтов и прозаиков-крестьян. Так, в самый канун революционных потрясений, на улице Жуковской, «в одном из домов возле Греческой церкви, помещалось общество крестьянских поэтов под названием 'Колос'». Об одном из вечеров этой литературной группы, с участием Клюева и Есенина, рассказывает Н. Н. Никитин, явно в угоду официальной советской установке крайне шаржируя и извращая факты: «Крестьян-поэтов в 'Колосе' я что-то не увидел. Вместо них я заметил двух-трех молодых людей, весьма отглаженных, с удивительными проборами, да небольшую группу молоденьких танцовщиц из Мариинского театра».¹⁹⁵ Николай Никитин «не заметил» и выступавших Клюева и Есенина (или не счел их крестьянами), ни входивших в круг поэтов-крестьян Клычкова, Пимена Карпова, Алексея Ганина...

Примыкает к Клюеву (и неразлучному с ним в те годы Есенину) и Михаил Ковалев, взбалмошный племянник вельможного лица, неплохой поэт, писавший и прозу и взявший себе литературное имя в славянско-варяжском духе: Рюрик Ивнев.¹⁹⁶ Разговоры у будущего кошуна и имажиниста Ивнева — самые апокалипсические, если верить Георгию Иванову:

«...Розовый, светлоголовый мальчик в рясе, послушник из Сергиевского подворья. Рядом тоже 'духовное лицо', лысый, заплывший жиром дьякон, расстриженный за сношения с сектантами. ¹⁹⁷ С ним истово, на 'о', беседует человек средних лет, в сапогах бутылками и поддевке, с умными холодными глазами. Это поэт Николай Клюев, 'из мужичков', как он сам о себе говорит. 'Мужичок' набелен, нарумянен и надушен 'Роз Жакмино' ...Нарумянен и другой поэт 'из мужичков' — голубоглазый Есенин. Вперемежку с ними — лицейсты, правоведы, какой-то бывший вице-губернатор, побывавший в ссылке, какой-то изобретатель 'сердечного магнита' — наивернейшего средства привлечь сердца отступников на лоно старообрядчества. Прихлебывая чай, кто с блюдечка, кто по всем правилам английского воспитания, часами ведут странные разговоры о Книге голубиной, о магните сердечном, и о Новом Иерусалиме, который воздвигнется 'на Руси',

когда кончится война и настанет 'Царство Христово'... — 'Скоро, скоро, детушки, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная, и правда Божия обнаружится', — Аминь, аминь...»¹⁹⁸

Если отбросить неприятный привкус — озлобленности, пристрастия, погони за занимательностью для читателя, — картина, нарисованная Георгием Ивановым, в чем-то внутренне-правдива. Ведь почти столь же озлобленно — но неизмеримо глубже — писал об этом А. Блок, писала, примерно, в тех же тонах Ольга Форш, писал — еще более озлобленно и едко — В. В. Розанов.

«Великая сила небратства», сказал давно уже Н. Ф. Федоров... И, хотя и много было в предреволюционных поисках и метаниях духа упадочного, искривленного, просто иной раз — и модного, но была и тоска духа. ненахождение себе места в предгрозовой атмосфере, да еще при заревах неудачнейшей войны... Ахматова напишет потом об этом времени:

Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек, —
А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.

(Поэма без героя)

Разрушить переборки между отдельными «я», разрушить их радениями или песнями, волхованием стиха, одержимостью плоти, опьянением, одержимостью вакхических кружений — все равно, — лишь бы разбить! Может, в этом деле не бесполезны и внешние формы «остранения облика» — армяк и древняя «пугвица» у ворота? И ведь не случайна и шумная — и скандальная, и мистическая — карьера поддевочника полухлыста Григория Распутина, его головокружительный взлет на самые верхи-разверхи тогдашнего общества! А, главное, вложить дерзновенно персты в живительные раны Христа, прикоснуться к живой плоти Мира и Бога. Все это роднит Клюева с безымянными строителями новгородского храма «во имя Уверения неверного Апостола Фомы» (1199), с религиозным материализмом Федорова, с мистическими

сектами, стремящимися также вложить и свои персты в Живую Плоть Господа и мира. И, конечно, роднит Ключева с В. В. Розановым острое чувство органической связи — и трагического разлада — религии и пола, вернее, христианства и пола:

Войти в Твои раны — в живую купель,
И там убелиться, как вербный Апрель,
В сердечном саду винограда вкусить,
Поющею кровью уста опалить...
...Взыграть на суставах: Или — Элои:
И семенем брызнуть в утробу Земли:
Зачни, благодатная, пламенный плод...
(Спас)

А в «Поддонном псалме» прямо хлыстовское:

Приложитесь ко мне братья,
К язвам рук моих и ног:
Боль духовного зачатья
Рождеством я перемог!..
...Снова голубь Иорданский
Над землею воспарил:
В зыбке липовой крестьянской
Сын спасенья опочил.

Это ему, «Микуде» Ключеву так радовался — и так его боялся — по свидетельству Иванова-Разумника¹⁹⁹ — Андрей Белый. Цельный и душевно позитивистический. Евгений Замятин старался от него отчураться, сводя успех Ключева к «патриотическому» угару военных лет.²⁰⁰ «Христос ваш маленечко плотян' — говорили немоляки о Христе петербургского религиозно-философского общества; что сказали бы они о Христе Ключева! Это подлинно 'плотяный' Христос; и недаром торжественной песнью плоти является вся первая часть 'Четвертого Рима'»...²⁰¹ — писал несколько лет спустя Р. Иванов-Разумник. Но не только пореволюционные поэмы и стихи, такие, как «Четвертый Рим», «Мать-Суббота» или «Заозерье», — нет, и в Ключеве предреволюционных лет тот же буйный расцвет плоти, требующей воскрешения своего в полноте и силе.

...Пречистой лебяжьей души
Шамановы ярые уды!
Лобок — желтоглазая рысь,
А в ядрах — по огненной утке, —
Лишь с Солнцевой бабой любись,
Считая лобзанья за сутки..

На рубеже «настоящего двадцатого века», разделяющего действительно две исторических эры, — на рубеже революции создается не то литературно-философски-политическое общество, не то неославянофильски-левоэсеровское движение — Скифы. Главным идеологом этого движения становится Разумник Иванов-Разумник, стройным отрядом вливаются в него будущие левые эсеры, а за ними — пестрая и не слишком дружная толпа писателей и поэтов: среди них — Александр Блок и Алексей Ремизов, Осип Манделъштам и Андрей Белый, и, конечно, так называемые «народные», «крестьянские» поэты (это название стало тесно и совсем неприложимо, по крайней мере, к первым двум) — Клюев, Есенин, Орешин...²⁰² Многие из них группировались в свое время вокруг журнала «Заветы», многие — примкнули к «Скифам» более или менее случайно. Примкнули к «Скифам» и С. Клычков, и А. Ширяевец, К. Эрберг, Е. Лундберг...²⁰³ Настоящим «партийцем»-скифом Клюев, конечно, не был. В левоэсеровском «Знамени Борьбы», десять лет спустя, некий М. А. писал: «Ни Блок, ни Клюев, ни Есенин никогда не разделяли никаких программ, никогда не прислушивались ни к каким манифестам: они были только поэтами, только певцами».²⁰⁴ Но если поэты и не прислушивались к политическим платформам и манифестам, то в выработке идеологии «скифства» принимали, может быть, не меньшее участие, чем завзятые политики. Но деятельность «скифов» — это 1917-1918 годы в России, двадцатые годы, вернее, их начало — уже в эмиграции, в Берлине.

А тогда, тогда все почти ждали революцию, призывали революцию, как давнюю народническую «Прекрасную Даму». Ждал ее и Клюев, и все «народные» поэты, группировавшиеся вокруг Клюева, ждали ее. Царевна-Русь, заточенная в тереме злого Кащея, и спешащий ее освободить витязь-революция... Просто и прекрасно, как стихи какого-нибудь Тана-Богораза или Гмырева! И литераторы типа В. Львова-Рога-

чевского так и декламировали: революция, мол, это — для «поэтов полей и городских окраин» прежде всего — освобождение от всех и всяческих авторитетов. В том числе — и в первую очередь — от Бога.

И пришла она, долгожданная. Это, то, что пишется здесь, не социальный анализ и не исторический очерк. Потому важнее — непосредственные впечатления писателей, в том числе — и особенно — «скифов», чем анализы и статистика... Ведь писатель (часто даже писатель-«социалистический реалист» не является в данном смысле исключением) — не социальный аналитик: он живет непосредственными впечатлениями жизни. Ремизов, ведший в те дни свой «временник», записывает: «... с самого первого дня в Таврическом дворце — известно, там в бывшей Государственной Думе все и происходило, 'решалась судьба России'... ..К Таврическому дворцу с музыкой водили войска. Один полк какой-то великий князь сам привел, и об этом много было разговору. С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты, медали, — чтобы передать Родзянке. Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя — Родзянку. Родзянко — был у всех на устах. В то же время в том же Таврическом дворце, где сидел этот самый Родзянко, станом расположились другие люди во главе с Чхеидзе — Совет рабочих и солдатских депутатов. Тут-то, — так говорилось в газетах, — Керенский вскочил на стул и стал говорить — Я заметил два слова — две кнопки, скреплявшие всякую речь, декларацию и приказ той поры: — смогу — всемерно — И Родзянко пропал, точно его и не бывало. К Таврическому дворцу с музыкой водили войска. С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали — чтобы передать Керенскому. Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя — Керенского. Керенский — был у всех на устах. И третье слово, как третья кнопка, скрепило речь: — нож в спину революции. А красные ленточки, ими украсились все от мала до велика, обратились и совсем незаметно в защитный цвет... Демонстрации с пением и музыкой ежедневно. Митинги — с пряниками — ежедневно и повсеместно. Все, что только можно было словами выговорить и о чем могли лишь мечтать, все сулилось и обещалось наверх — пряники: земля, повышение платы, уменьшение работы, полное во всем довольство, благополучие, рай. Пришвин — агроном, ученый,... — доказывал мне, что земли не

хватит, если на всех переделить ее, и что сулимых полсотни десятин на брата никак не выйдет. Я же никак не агроном, ни возражать, ни соглашаться не мог, я одно чувствовал, насаждает на меня что-то и с каждым днем все ощутительней этот насед. И, не имея претензии ни на какую землю и мало веруя в пряники — наговорить-то что угодно можно, язык не отвалится! — карабкался из всех сил и отбивался, чтобы как-нибудь сохранить — свою свободу — самому быть на земле — самим».²⁰⁵ Примыкавший также к «Скифам» Осип Манделъштам характеризует те немногие месяцы русской демократической республики короче, но не менее выразительно: «Стояло лето Керенского и заседало лимонадное правительство. Все было приготовлено к большому котильону. Одно время казалось, что граждане так и останутся навсегда, как коты с бантами. Но уже волновались айсоры-чистильщики сапог, как вороны перед затмением, и у зубных врачей начали исчезать штифтовые зубы».²⁰⁶

Но тогда действительно почти все готовились «к большому котильону». Какое-то беззаботное праздничное настроение овладело людьми — от некоторых великих князей до чистильщика сапог.

Клюев принял революцию прежде всего как старовер или как член Корабля Христовщины, как хлыст:

То колокол наш — непомерный язык,
Из рек бичеву свил Архангелов лик.
На каменный зык отзовутся миры,
И демоны выйдут из адской норы,
В потир отольются металлов пласты,
Чтоб солнца вкусили народы-Христы...

(Песнь Солнценосца)

Как уже говорилось, Христом может быть всякий, Богородицей — всякая — это — не исторические неповторимые личности, а высочайшие вершины духовного возрастания. Христовщина растворяет Христа в народе, в человечестве, во всем сущем. Даже демоны спасутся. Даже они будут — вместе со всеми народами-Христами мира — приобщаться хлебу и вину новому, солнечному. Своеобразное революционно-мистическое претворение оригенизма... И некая связь с

восточными (буддийскими и суффийскими) представлениями о великом пути возрастания-освобождения. И Христос дается тому или иному народу, тому или иному Кораблю — по молитве и по подвигу духовному. Недаром «начальная» молитва хлыстовщины-христовщины, та, которую — по их представлению — будут петь избранные праведники- девственники на Страшном Суде, — эта молитва так своеобразна:

Дай нам, Господи, к нам
Исуса Христа!
Дай нам, Сын Божий,
Свет помилуй нас!
Сударь Дух Святой,
Свет помилуй нас!
Ох ты, Матушка,
Свет Помощница,
Пресвятая Свет
Богородица!
Упроси, Свет, об нас,
Света Сына Твоего
Бога нашего!
Свет Тобой мы спасены,
На сырой на земле,
На матушке,
На сударыне,
На кормилице!²⁰⁷

Народы-Христы должны купить состояние христовства отречением, «страдами» и большой кровью. А бары-бояры и правительство — от Антихриста. Так, в общем, писал еще в 1913 г. Пимен Карпов, тоже «звезднокормчий» (хлыст), автор отмеченного Блоком романа «Пламень». Так мыслят исстари раскольники: «А и герб империи Российской — печать дьяволова — двухглавый орел: где же такие у Бога в природе бывают, чтобы о двух головах?» — спрашивают раскольники. Государство ранит душу. Бегут от него в скиты и в дальние леса сибирские. А здесь, у хлыстов, все то, что войдет потом и в «Песнь Солнценосца» и в позднейшие произведения Ключева: и мать-сыра земля, как Богоматерь; и христовство, как возрастание снизу и дар свыше; и «народ — это тело Божие» (сравни слова Шатова в «Бесах» Достоев-

ского). А для того, чтобы все стало на свое место, — необходима великая раскачка и неизбежна великая кровь. «О пролитой (в революцию, БФ) крови Клюев вспоминать не любил. Он провидел, что еще более крови прольется, может быть, в ближайшем будущем, и говорил об этом сдержанно, как бы вскользь, но поэтически выразительно: 'Чашу с кровью — всемирным причастьем — нам испить до конца суждено'». ²⁰⁸

Клюев принял революцию и как крестьянин. «Клюев приемлет революцию, потому что она освобождает крестьянина, и поет ей много своих песен. Но его революция без политической динамики, без исторической перспективы. Для Клюева это ярмарка или пышная свадьба, куда собираются с разных мест — опьяняются брагой и песней, объятьями и пляской, а затем возвращаются ко двору: своя земля под ногами и свое солнце над головой. Для других — республика, а для Клюева — Русь; для иных — социализм, а для него — Китеж-град. И он обещает через революцию рай, но этот рай только увеличенное и приукрашенное мужицкое царство: пшеничный, медвяный рай: птица певчая на узорчатом крыльце и солнце светящееся в яшмах и алмазах». ²⁰⁹ — Так же приняли революцию Алексей Чапыгин, Пимён Карпов, Александр Ширяевец, Сергей Клычков, Петр Орешин, отчасти — озорующий и исхулиганившийся Сергей Есенин. Характерны воспоминания Рюрика Ивнева: «Одна встреча особенно запала в память. Иду по Невскому. Голубой снег. Прошло всего несколько дней после февральского переворота. ...Вдруг вижу — прямо по улице идут четверо, взявшись за руки, точно цепью. Смотрю — Клюев, Клычков, Орешин и с ними Есенин. Все какие-то новые — широкогрудые, взлохмаченные, все в расстегнутых пальто. Накидываются на меня. Колют злыми словами: 'Наше время пришло!' — шипит елеинный Клюев». Ивнев рассказывает дальше и об организованном им в первые месяцы после Октябрьского переворота митинге: «Я ему (Есенину, БФ) наспех рассказал о митинге и просил разрешения поставить на афишу его имя. — Кто, ты говоришь, участвует? — я назвал фамилии. Он улыбнулся. — Ну, и винегрет же ты устроил: Клюев — Спиридонова²¹⁰, Луначарский — Блок!» Но митинг не удался: «Вышло как-то так, что после политических речей стихи были не у места, и приехавшие поэты сидели в публике». ²¹¹

Клюев принял революцию и как славянофильствующий народник, как «скиф». «Революционными славянофилами» назвал «скифов» Б. Яковенко.²¹² И это совершенно точное определение «скифства». Программа «скифов» была крайне далека от четкости, была достаточно туманна и расплывчата. Хотя поэты и не принимали прямого участия в составлении манифестов, программ, воззваний группы, но, фактически, именно они составляли душу «скифства». Ведь и «идеологические» выступления главного вдохновителя «Скифов» — Иванова-Разумника — состояли из декламации, превращающей в превысprenние штампы поэтические образы литературного ядра «скифов». «'Скиф'. Есть в слове этом, в самом звуке его — свист стрелы, опьяненной полетом; полетом — размеренным упругостью согнутого держащей рукой, надежного, тяжелого лука. Ибо сущность скифа — его лук: сочетание силы глаза и руки, безгранично вдаль мечущей удары силы». Прославление «народной стихии», «мессианизм» русского народа, вступающего на «крестный путь» во имя «всемирного воскресения» (Федоровские нотки!), революция, понимаемая как русский стихийный мятеж: «Разве скиф не всегда готов на мятеж?» (Много тут и от блоковской высоко-поэтической публицистики — не даром «Скифы» Блока, 1918, станут «гимном» скифов...)²¹³ Немало тут и от эсхатологии послереволюционного Максимилиана Волошина:

Так семя, дабы прорости,
Должно истлеть...

Истлей, Россия,
И царством духа расцвети!

214

«В особом положении среди 'скифов' находились крестьянские или, как их часто тогда называли, 'народные поэты' — Клюев, Есенин, Орешин и некоторые другие, не выступавшие активно в 'скифских' изданиях, но по существу примыкавшие к той же группе (С. Клычков, А. Ширяевец и др.), — пишут А. Меньшутин и А. Синявский. — Хотя некоторые из них еще за несколько лет до революции пользовались благосклонным вниманием в символистских кругах, все же тогда они фигурировали в качестве 'меньших братьев', опекаемых своими старшими наставниками. Теперь же, в новой общественно-политической ситуации, эти авторы

окружены почетом и сами задают тон. Если в первом сборнике 'Скифы' центральное место занимал А. Белый, то во втором сборнике это место переходит к Н. Клюеву, и А. Белый сопровождает его стихи восторженным предисловием. В блоке символистов с крестьянскими поэтами последние начинают явно перевешивать, и это было связано не только с их возросшей творческой активностью, но и с тем, что 'скифам' импонировало присутствие в их рядах 'народных поэтов' на которых отныне возлагались большие надежды. Не обошлось здесь без народнических иллюзий на тот счет, что крестьянская Россия... устами названных поэтов произнесет, наконец, свое 'вещное слово'.²¹⁵ «Скифы» выпустили два одноименных сборника — в 1917 и в 1918 гг. В первом сборнике Клюев опубликовал впервые свои стихи последних лет, объединенные поэтом в цикл «Земля и Железо»; во втором сборнике — великолепный цикл «Избяные песни» и два стихотворения: «Песнь Солнца» и «Двенадцать месяцев в году». В 1920 г. эти циклы и стихи вышли в — уже зарубежном — издательстве «Скифы», в Берлине, двумя отдельными книжками. Во втором сборнике «Скифов», в специальной статье «Песнь Солнца», предваряющей эту поэму Клюева, автор статьи — Андрей Белый — хлыстовствует почище самого Давида Христовского Корабля: «Слышит Клюев, народный поэт, что — Заря, что огромное солнце восходит над 'Белою Индией': 'И страна моя, Белая Индия, Преисполнена тайн и чудес'. И его не пугает гроза, если ясли младенца — за громом: Дитя-Солнце родится. И маги Европы, и глас пастухов перекликнулись... Пастухи ведь слышали впервые: 'Мир на земле и человекам благоволение, — и весть пастухов из народа передает Клюев нам: да, Народы Христа, если сердца станут в них, как ясли Христовы. Он — все прощает'.²¹⁶ А Иванов-Разумник, во вступительной статье ко второму сборнику «Скифов», противопоставляя творчество народных поэтов «провалившимся на революции» поэтам городским, писал: «Отчего это так случилось: в дни революции стали громко звучать только голоса народных поэтов? И притом 'народных' в смысле не только широком, но и узком: Клюев, Есенин, Орешин — поэты народные не только по духу, но и по происхождению, недавно пришедшие в город с трех разных сторон крестьянской великой России, с Поморья, с Поволжья и 'с рязанских

полей Коловратовых'» ... «Клюев — первый народный поэт наш, первый, открывающий нам подлинные глубины духа народного... ..И если не он, то кто же мог откликнуться из глубины народа на грохот громов войны и революции?»²¹⁷ Иванов-Разумник ставит Клюева много выше и Кольцова, и Никитина, — считая его воистину первым начинателем подлинно-народной культуры. «Сердце Клюева соединяет пастушескую правду с магической мудростью; Запад с Востоком; соединяет воистину воздыхания четырех сторон Света. ...Народный поэт говорит от лица ему вскрывшейся Правды Народной»...²¹⁸ — вторит Иванову-Разумнику Андрей Белый. С той же статьей Иванова-Разумника, что и в «Скифах», выходит в эсеровском издательстве «Революционная Мысль» (Петроград), в том же 1918 г., сборник стихов Клюева, Есенина, Орешина и Ширяевца — «Красный Звон».

~~Далеко не все так высоко расценили весьма на самом деле слабое (и по форме несовершенное) произведение Клюева — «Песнь Солнценосца».~~ В альманахе «правых» эсеров «Мысль» Мих. Платонов писал по поводу восторгов Разумника: «Поистине удивительно приключение Иванова-Разумника с 'Песнью Солнценосца' Клюева: эту дурного тона 'Оду Фелице' Иванов-Разумник не только стерпел на страницах 'Скифов', но еще и хвалит, не поморщившись. ...Как далеко (это) от нашего Клюева, которого мы привыкли любить. Чего стоят в этих виршах одни слова с заглавными буквами — безвкусица, пушенная в оборот, кажется, Андреевым, и первый знак творческой импотенции. А у Клюева в 'Песне Солнценосца' полнехонько этого добра: Мир, Zenит, Премудрость, Труд, Равенство, Песня и... Тайна, и...давно засиженная мухами Любовь, и... ставшая уже мелкой, как лужа, Бездна...» Но, обращаясь к «Избьяным Песням», тот же М. Платонов, меняя сам тон, говорит, что в них «Клюев уже бросил всунутые ему в руки Мечи и Бездны — и сразу: не казенное вдохновение, а подлинное; не новое золото, а червонное, какое века простоит и не пойдет ржавчиной. И тут уже не знаешь, что выбрать, что лучше: так хороша, так живет у Клюева вся избьяная тварь — лежанка, кот, пузангоршок, 'за печкой домовою твердит скороговоркой' что-то, и сама печь-мать, и коврига — 'лежит на столе, ножу лепеча: я готова себя на закланье принести'. После 'Избьяных песен' еще досадней за Клюева, автора од: сереньким бежать

за победоносным петушком — и сам Бог велел, а таким, как Клюев, — не надо».²¹⁹

Уже в 1917 году Есенин порывается уйти из под всяческой опеки Клюева. Орешин рассказывает, как Есенин говорил ему: «...знаешь, я от Клюева уйду... Вот лысый черт! Революция, а он 'избяные песни'... На-ка-за-ние! Совсем старик отяжелел. А поэт огромный! Ну, только не по пути...»²²⁰ Но пока что пути их не разошлись: в 1917 году они почти всюду вместе. Вместе пишут, в частности, коллективное письмо поэту Александру Ширияевцу, 30 марта 1917 г., поздравляя его и с Пасхой, и с выходом (в конце 1916 г.) сборника стихов «Запевка». Клюев писал:

Христос Воскресе, дорогая Запевка, целую тебя в сахарные уста и кланяюсь низко.

Николай Клюев²²¹

Тому же Ширияевцу Есенин пишет (24 июня 1917, из с. Константинова), поучая его, как относиться к поэтам и писателям из интеллигенции: «В следующий раз мы (т. е. Клюев и Есенин, БФ) тебя поучим наглядно, как быть с ними, а пока скажу тебе об издательствах: Аверьянов сейчас купил за 2½ тыс. у Клюева полн/ое/ собрание/ (выш/едшие/ кн/иги/) и сел на них. Дела у него плохи, и издатель он шельмоватый».²²² Клюев и Есенин и дела ведут вместе, и в литературных салонах всегда вместе,²²³ но трещина все растет и растет. Не только личные отношения, но и зависть: более элементарный и общедоступный, поэтому начинающий пользоваться большей, чем Клюев, любовью среднего (и ниже среднего) читателя, Есенин начинает смертельно ненавидеть Клюева за то, что «большая» печать (и, в частности, «Скифы») ставит Клюева на первое место. В январе 1918 года Есенин порывает со «Скифами» и пишет Иванову-Разумнику: «Дорогой Разумник Васильевич! Уж очень мне понравилось, с прибавлением не, клюевская 'Песнь Солнценосца' и хвалебные оды ей с бездарной 'Красной песней'. Штемпель Ваш 'первый глубинный народный поэт', который Вы приложили к Клюеву из достижений его 'Песнь Солнценосца', обязывает меня не появляться в третьих 'Скифах'. Ибо то, что вы сочли с Андреем Белым за верх совершенства, я счел только за мышиный писк... Клюев, за исключением 'Избяных песен',

которые я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом. Я больше знаю его, чем Вы, и знаю, что заставило написать его 'прекраснейшему' и 'белый свет Сережа, с Китоврасом схожий'. То единство, которое Вы находите в нас, только кажущееся... 'Приложите ко мне, братья' противно моему нутру, которое хочет выплеснуться из тела и прокусить чрево небу, чтоб сдвинуть не только государя с Николая на овин, а... Но об этом говорить не принято, и я оставляю это для 'Лицеизрения в печати', кажется, Андрей Белый ждет уже... В моем посвящении Ключеву я назвал его *средним* братом... ...Значение среднего в 'Коньке-горбунке', да и во всех почти русских сказках — 'Так и сяк'. Поэтому я и сказал: 'Он весь в резьбе молвы', — то есть в пересказе сказанных. Только изограф, но не открыватель. А я 'сшибаю камнем месяц' и черт с ним, с Серафимом Саровским, с которым он так носится, если, кроме себя и камня в колодце небес, он ничего не отражает. Говорю Вам это не из ущемления 'первенством' Солнценосца и моим 'созвучно вторит', а из истинной обиды за Слово...»²²⁴

В письме этом Есенин переосмысливал свои стихи 1917 года, посвященные — в первой публикации (во втором сборнике «Скифов», 1918) — Николаю Ключеву, с исключенным в дальнейшем знаменательным эпиграфом из Лермонтова:

Я верю, под одной звездой
С тобой мы были рождены.

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

По голубой долине,
Меж телок и коров,
Идет в золотой ряднине
Твой Алексей Кольцов. ..

...За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идет, одетый светом,
Его средний брат.

От Вытегры до Шуи
Он изобразил весь край
И выбрал кличку — Клюев,
Смирный Миколай.

Монашья мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит Пасха
С бескудрой головы.

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я...²²⁵

Так же переосмысливал это свое стихотворение Есенин в разговоре с Блоком, сразу же после выхода стихов в «Скифах»: «О чем вчера говорил Есенин (у меня), — записывает Блок 4 января 1918: — Кольцов — старший брат (его уж очень вымуштровали, Белинский не давал свободы), Клюев — средний — 'и так, и сяк' (изограф, слова собирает), а я — младший... ..Из богатой старообрядческой семьи — рязанец. Клюев в молодости жил в Рязанской губернии несколько лет. Старообрядчество связано с текучими сектами (и с хлыстовством). Отсюда — о творчестве... .. Ненависть к православию. Старообрядчество московских купцов — не настоящее, застывшее. Клюев — черносотенный (как Ремизов). Это не творчество, а подражание (природе, а нужно чтобы творчество было природой; но слово — не предмет и не дерево; это — другая природа; тут мы общими усилиями выяснили). /Ремизов (по словам Разумника) не может слышать о Клюеве — за его революционность/».²²⁶

Осенью того же 1918 года Есенин пишет свои программные «Ключи Марии», где много говорит о Клюеве, в сущности, полемизирует с ним, старается отчураться от него: «Художники наши уже несколько десятков лет подряд живут совершенно без всякой внутренней грамотности. Они стали какими-то ювелирами, рисовальщиками и миниатюристами словесной мертвенности. Для Клюева, например, все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр, где виноград стилизуется под курчавый порядок воинственных всадников;²²⁷ то, что было раньше для него сверлением об-

легающей его коры, теперь стало вставкой в эту кору. Сердце его не разгадало тайны наполняющих его образов, и вместо голоса из-под камня Оптиной пустыни, он повеял на нас безжизненным ветром деревенского Обри Бердслея, где ночи-вставки он отливает в перстень яснее дней, а мозоль, простой мужицкий мозоль вставляет в пятку, как алтарную ладанку. Конечно, никто не будет спорить о достоинствах этой мозаики. Уайльд в лаптях для нас столь же приятен, как и Уайльд с цветком в петлице и лакированных башмаках. В данном случае мы хотим лишь указать на то, что художник пошел не по тому лугу. Он погнался за яркостью красок и 'изрони женьчужну душу из храбра тела, чрез золото ожерелие', ибо луг художника только тот, где растут цветы целителя Пантелимона». ²²⁸ Но в тех же «Ключах Марии» немало мест, в которых Есенин восхищается Клюевым. Во многих воспоминаниях говорится, что он «очень ценил Н. Клюева, которого всегда называл своим учителем». ²²⁹

Вначале Клюев принял и Октябрь. Писал достаточно гнусные стихотворения, восхваляя расстрелы и кощунства, потом каялся, потом опять писал... Печатался в «Красной Газете», в мелких, возникавших как грибы и бесследно исчезающих революционных журнальщиках и альманахах. «Клюев, очевидно, бывал в Питере во время революции, писал в 'Красной Газете', братался с рабочими, но как хозяин себе на уме, Клюев даже в те медовые дни так и этак прикидывал — не будет ли от этого ущерба его клюевскому хозяйству, то бишь искусству», — писал в начале 1920-х гг. Л. Д. Троцкий. ²³⁰ А поэт-приспособленец Василий Князев (впрочем, тоже погибший в ежовщину и «посмертно реабилитированный»), посвятивший в те же двадцатые годы целую книгу разоблачению и погрому Клюева и «клюевщины», писал: «Клюев... и не рядовой пахарь, и не православный пахарь. Клюев — идеолог-сектант. Мистическую пашню свою он пашет глубоко забирающим 'электроплугом' идейно-духовно-обоснованной потребности в Божием бытии». ²³¹ Для Клюева Бог и весь уклад тесно сливаются с самими основами его жизни — жизни не только деревенской, но обязательно связанной тесно с землей:

Нила Сорского глас: «Земнородные братья,
Не рубите кринов златоствольных,

Что цветут, как слезы в древних платьях,
В нищей песни, в свечечках юдольных.
Низвергайте царства и престолы,
Вес неправый, меру и чеканку,
Не голите лишь у Иверской подола,
Просфору не чтите за баранку.

Октябрь обманул и упования Клюева-старовера, и чаяния Клюева-мужика, и надежды Клюева-славянофила и федоровца, и мечты Клюева-поэта. Уже в начале 1918 года он вздыхает:

На божнице табаку осьмина
И раскосый, вылущенный Спас,
Не поет кудесница-лучина
Про мужицкий, сладостный Шираз.
Древо песни бурю разбито,
Не Триодь, а Каутский в углу, —

и Клюев отаминивается: «Китеж-град ужалил лютый гад»,²³² — и спешит каяться — после богохульства и гнуснейшего воспевания расстрелов... «Облетел цветок купальской веры», «буквенные тати» книжной лжемудрости, брошюрные сердца, сердца папиросные, — съели они дух мужицкой революции и посягают на саму душу России, а

Лучше пунш, чиновничья гитара,
Под луной уездная тоска, —

чем «керженец в городском обноске» и муза «с махорочной гарью губ» — шлюха с заплеванного революционными подсолнухами городского бульвара... И поэт вопит, истощенно-выразительно:

Не хочу коммуны без лежанки,
Без хрустальной песенки углей!

Не хочет он и петь по заказу, хотя бы и революционно-рабоче-крестьянской указке:

Не свалить и в Красную Газету
Слов щепу, опилки запятых.
Ненавистен мудрому поэту
Подворотный, твякающий стих.

Нет, но и книжная, искусственная, выдуманная литература — чисто формальная, чисто развлекательная — грех и «распад атома». И здесь Клюев опять переключается с Н. Ф. Федоровым — и с В. В. Розановым, писавшим: «Мы в сущности играли в литературе. 'Так хорошо написал'. И все дело было в том, что 'хорошо написал', а что 'написал' — до этого никому дела не было. ...Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только 'как они любили', и 'о чем разговаривали'. И все 'разговаривали', и только 'разговаривали', и только 'любили' и еще 'любили'»...²³³

Бумажный ад поглотит вас
С чернильным, черным сатаню,
И бесы: Буки, Веди, Аз,
Согнут построчников фитою.
До воскрешающей трубы
На вас падут, как кляксы, беды,
И промокательной судьбы
Не избежат бумагоеды.

И вот — «мы все шалили», как говорил Розанов. И испытания огнем и верой не выдержали. И революция, как некое испытание в огне и крови, не поняли и не приняли — так, как надо:

Господи! Да будет воля Твоя
Лесная, фабричная, пулеметная.
Руки устали, ловя
Призраки, тени болотные.
Революция не открыла Врат,
Но мы дошли до Порога Несказанного,
Видели Пламенной зрелости сад,
Отрока — агнца багряного.
На отроке угли ран,
Ключи кровавые, свирельные, —
Уста народов и стран

Припадали к ним в годы смертельные...
...Господи! Мы босы и наги,
На руках с неповинною кровью...
Шелестят леса из бумаги,
«Красная Газета» мычит по-коровьи...

Троцкий, умный и остроумный при всей плоскостности его мышления, понял какую-то сторону существа Клюева: «Клюев принял ее (революцию, БФ) не за себя самого, а вместе со всем крестьянством, принял ее по-крестьянски же. Упразднением барской усадьбы Клюев доволен: 'пусть о ней плачет Тургенев на полке'. Но ведь революция это прежде всего город: без города не было бы и упразднения дворянской усадьбы. Вот отсюда и двойственность в отношении Клюева к революции; двойственность, опять-таки, не только клюевская, а общекрестьянская: города Клюев не любит, городской поэзии не признает. Очень поучительны дружески-вражеским тоном своим стихи его, в которых он убеждает поэта Кириллова отказаться от мысли о фабричной поэзии и прийти в его клюевский сосновый лес, единственный источник искусства. Об 'индустриальных ритмах', о пролетарской поэзии, о самом принципе ее Клюев говорит с тем натуральным презрением, какое сквозит в устах каждого 'крепкого' хозяина, когда он примеривается глазом к проповедующему социализм, бездомному городскому рабочему или еще того хуже — к стрекулисту. И когда Клюев благосклонно предлагает кузнецу прилечь на минуту на узорчатой мужицкой лавке, кажется, будто богатый и кряжистый олончанин милостиво подает краюху потомственному пролетарию 'в городском обноске на панельных стоптаных каблуках'». ²³⁴

Речь здесь идет о своеобразной поэтической полемике между пролетарским поэтом Владимиром Кирилловым и Клюевым, развернувшейся на страницах тогдашнего литературного журнала «Пламя». Клюев писал:

Мы — ржанные, толоконные,
Пестрядинные, запечные,
Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные.
Мы — огонь, вода и пажити,

Озимь, солнца пеклеванные,
 Вы же таин не расскажете
 Про сады благоуханные.
 Ваши песни — стоны молота,
 В них созвучья — шлак и олово;
 Жизни дерево надколото,
 Не плоды на нем, а головы.
 У подножья — кости бранные,
 Черепа с кромешным хохотом...
 ...На святыни пролетарские
 Гнезда вить слетелись вороны;
 Орды книжные, татарские
 Шестернею не осилены.
 Кнут и кивер арачьевский,
 Как в былом, на троне буквенном...²³⁵

Стихотворение и пророческое, ибо в нем предугазан тоталитарный коммунизм, и издевательское, ибо прямо указывает на чисто книжный, надуманный, никак с жизнью не связанный, а навязанный ей — характер русского марксистского коммунизма: ведь страна-то была на девять десятых крестьянской, промышленность в те годы вообще лежала в развалинах; на Путиловском заводе кучка рабочих делала зажигалки, а электричество — «лампочка Ильича» — и до сей поры не очень-то заливаает все необъятные просторы России:

Ваша кровь водой разбавлена
 Из источника бумажного, —

подчеркивает Клюев, и говорит, что только в океане мужицкой Руси — спасение страны и ее будущее:

И цвести над Русью новою
 Будут гречневые гении.

Одно время Клюев возлагал надежды на ~~Ленина~~, как того, кто поведет народ к обетованному раю просветленной и преображенной Руси, Руси, какая грезилась староверам. Клюев подчеркивал «евразийские» — славяно-финско-татарские черты в самой физиономии Ленина, он чаял увидеть в

нем нового вождя Поморского Соглашения, воскресшего Андрея Денисова, возвратившегося на Русь протопопы Аввакума и Вейнемейнена «Калевалы»:

Есть в Ленине Керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в Поморских Ответах.
Мужицкая ноне земля,
И церковь — не наймит казенный...

Увы, эти грезы 1917-1918 года осыпались пустоцветом или обратились в ядовитейшую белену, как и все революционные упования. Почти отчаяние слышится уже в конце того же стихотворения:

Есть в Смольном потемки трущоб
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой. ...
...Их ворон-судьба стережет
В глухих преисподних могилах...
О чем же тоскует народ
В напевах татарско-унылых?²³⁶

И еще сгущеннее ощущение гибели и предсудной тоски в стихотворении «Воздушный корабль» из того же цикла «Ленин»:

..Стихотворная, грубая медь
Оглашает журнальную мглу.
Я под Смольным стихами трубил,
Но рубиново-красный солдат
Белой нежности чайку убил
Пулеметно-суровым «назад».
Половецкий привратный костер,
Как в степи, озарял часовых.
Здесь презрен ягелевый узор,
Глубь строки и капель запятых.
С книжной выручки Бедный Демьян
Подавился кумачным хи-хи...

Уплывает в родимый туман
Мой корабль — буревые стихи.
Только с паруса Ленина лик
С укоризной на Смольный глядит,
Где брошюрное сердце на миг
Потревожил поэзии кит.

Со стороны тогдашних властей предержавших послышался окрик-предупреждение. Троцкий писал: «Когда Клюев 'подспудным, мужицким стихом' поет Ленина, то очень не легко решить: Ленин это или... Анти-Ленин? Двоесмыслие, двоечувствие, двоесловие. А в основе всего — двойственность мужика, лапотного Януса, одним лицом к прошлому, другим — к будущему... .. Каков будет дальнейший путь Клюева: к революции или от нее? Скорее от революции: слишком уж он насыщен прошлым».²³⁷

И Клюева — несколько лет спустя — даже заставили переделать некоторые стихи из цикла «Ленин» (Цитированные выше строки «Воздушного корабля», например, были переработаны до полной неузнаваемости:

...Самоедская рдяная медь
Небывалую трубит хвалу.
Я под Смольным стихами трублю,
Где горячий, как сполох солдат
Пулеметным пшеном прикормил
Ослепительных гаг и утят.
Там ночной звероловный костер,
Как в степи, озарял часовых..
Отзвенел ягелевый узор,
Глубь строки и капель запятых.
Только с паруса Ленина лик
Путеводно в межстрочье глядит,
Где взыграл, как зарница, на миг
Песнобрюхий лазоревый кит.²³⁸

В стихах стало не слишком много смысла? Пусть так, — ответят вам властители дум из ЦК партии: — зато изъяты сомнения, отчаяние, глубокая тоска. А это — самое существенное. Большевики ведь не поэты, не эстеты, они — реалисты...

Если и раньше Клюев бедствовал, то сейчас он — на самом краю голодной смерти. Раньше он бедствовал, потому что оторвался от отца хозяйства, хотя и небогатого, но достаточно крепкого. Но сейчас положение поэта отчаянное. А. А. Блок стремится помочь Клюеву. Он устраивает его книги в книгоиздательстве «Земля», где выходят и его, Блока, книги.²³⁹ Впрочем, из этого устройства ничего не выходит — книг Клюева «Земля» не издала.. В том же 1918 году Есенин, Клычков, скульптор Коненков и Орешин, чтобы как-то укрепить положение прозаиков и поэтов-крестьян, подают заявление — от имени инициативной группы крестьянских поэтов и писателей — об образовании крестьянской секции при Московском Пролеткульте. В числе тех, кого эта инициативная группа предлагала привлечь к творческой деятельности, значился и Клюев...²⁴⁰ Клюев — и Пролеткульт! Более нелепого, противоестественного сочетания имен представить невозможно. Но — надо было как-то жить, а Пролеткульт тогда хотя и сквернейшим образом, но что-то издавал, и если не кормил, то немного подкармливал. Клюев печатается даже иногда в таких рьяно-пролеткультовских изданиях, как журнальчик «Грядущее». Но и там клюевская «революционность» облекается в такие ризы, что не понять — как мог «пролетарский» журнал напечатать такое: распят Христос-мужик. А распяла-то его новая монархия Петровская, Санкт-Петербургская, индустриально-железная, порвавшая с исконно-русскими началами, и «образованность наша вонючая». И революция призвана попать вражьей силой, и «сойдет с древа Всемирное Слово во услышание всем концам земным... Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Нищие, голодные, мученики, кандалники вековые, серая убойная скотина, невежи сиволапые, бабушки многослезные, многодумные старички онежские вещие, — вся хвойная, пудожская мужицкая сила — стекайтесь на великий, красный пир воскресения! Ныне сошло со креста Всемирное слово. Восколыбнулась вселенная — Русь распятая, Русь огненная, Русь самоцветная, Русь-пропадай голова, соколиная, упевная, валдайская!»...²⁴¹ Но народ русский, хотя он и Возлюбленный Сын Божий, «слеп на правый глаз свой». И нужно просветить разум «огненной грамотой», Наукой (с большой буквы): «И полюбишь ты себя во всех народах, и будешь счастливо служить им. И

медведь будет пастись вместе с телицей, и пчелиный рой поселится в бороде старца. Мед истечет из камня, и житный колос станет рошей насыщающей»...²⁴²

Уму — республика, а сердцу — Мать-Русь.
Пред пастью львиною от ней не отрекусь.
Пусть камнем стану я, корягою иль мхом, —
Моя слеза, мой вздох о Китеже родном,
О небе пестрядном, где звезды — комары,
Где с аспидом дитя играют у норы,
Где солнечная печь ковригами полна,
И киноварный рай дремливей челна...

Тут и «мужицкий староверский рай», тут и Н. Ф. Федоров, тут и социальные мечтания Фурье о царстве будущего, которое преобратит не только природу человека, но преобразит и всю внешнюю природу, сделав хищных львов благодушными антильвами, а китов, обратив их в антикитов, заставит нести социально-полезную функцию океанских буксиров... Но ведь таковы же и мечты о грядущем золотом веке, отраженные в картинах американского художника-примитивиста Эдварда Хикса (1780-1849), и многих утопистов прошлого и настоящего.. А чем лучше и научнее пресловутый «прыжок из царства необходимости в царство свободы» Маркса?

В 1919 году выходит сборник Ключева «Медный Кит». Книгу издал «Петроградский Совет Рабочих и Красноармейских Депутатов». Это сочетание было столь парадоксально, что пролетарский писатель Бессалько в пролеткультовском журнальчике «Грядущее», в рецензии на книгу, острил: «Плавающая по бурному океану русской жизни и наглотаившись многих медных и железных вещей, вроде — пулемета, революции, Ленина, власти советов, республики, коммуны, — кит почувствовал тяжесть в брюхе. — Ого! — подумал зверь — я кажется, забрюхател 'современностью'. ...Но родил вместо 'современности' Божьего слушника, пророка Иону, проглоченного три тысячи лет назад в морях древней Иудеи. Вышедши на свет Божий, мученик Иона решил издать книгу под названием 'Медный Кит', чтобы рассказать миру о вещах, виденных им во чреве кита. Книга эта издана Петроградским Советом, вероятно, с научной целью, чтобы знали,

как преломилась 'современность' в голове человека, который отстал от жизни ровно на 30 столетий. Начнем с 'Поддонного псалма', дабы показать читателю, что Иона не разучился древне-пророческому стилю. ...А вот и о революции.

Не величайте революцию невестой,
Она только сваха, принеся дар —
В кумачевом платочке яичко и свечка.

Вот она какая 'революция' верующая, с яичком и свечкой, а то, что пишут газеты о приходе Пролеткульта, то это не страшно, ибо каждая крестьянская

Изба — Карфаген, арсеналы же — печка,
По зорким печуркам не счесть катапульт.

Почему же не взрываются эти 'катапульты'? Сам же автор признается, что в той же крестьянской избе

На божнице табаку осьмина
И раскосый, вылуценный Спас.
Не поет кудесница-лучина
Про мужицкий сладостный Шираз.

А деревенские парни вместо 'Триоди' смотрят на Каутского... ..И в их душе уж 'не засеребрится чайкой тень Егорья' святого, и не будут они вместе с Николаем Клюевым просить мужицкого 'заступника':

Страстотерпец, вызволь цветик маков —
Лютый гад ужалил Китеж-град, —

ибо для них рабочая культура не гад, а осиянная ярким светом свобода, которая краше Китеж-градов и прочих древних сказаний. Благодаря заводской культуре, они знают теперь, что лишь

В союзе с паром, сталью и огнем
Овладеем шаровидным Кораблем,

как говорит поэт рабочего класса Илья Садофьев. Да, Вселенной и всей природой мы овладеем лишь разумом, наукой

— точными познаниями, а суеверная сказка, мистика и прочая штука, делавшая людей рабами этой природы, должны быть забыты. В книге 'Медный Кит' и, что то же — 'Еловый скит' есть немало очень сильных, красивых стихотворений, но они не спасают читателя от тяжелой улыбки при зрелище того, как автор тщетно силится уберечь от всеразрушающей революции свой древний Китеж-град, свое христианское миропонимание».²⁴³

Рецензия выписана почти полностью — так она характерна...

В том же 1919 году вышло двухтомное собрание стихотворений поэта — «Песнослов». О выпуске «Песнослава» Клюев переписывался с Аверьяновым уже давно, в 1917 году (см. его переписку по этому поводу в статье Г. Мак-Вэя). Порвав с Аверьяновым договор, Клюев издал «Песнослов» в Петрограде, в Литературно-издательском отделе Наркомпроса. Это — самое полное собрание стихотворений Клюева, вышедшее в СССР. В отзыве на «Песнослов» поэт и критик Иннокентий Оксенов писал: «...если вначале наряд клюевской музыки казался на первый взгляд простым, то знатоки и ценители очень скоро открыли, что эта простота есть простота поэта, смело и уверенно владеющего своим искусством... Поэт сознал свою большую историческую роль — и творчество его гармонически развивалось по своим собственным законам — и, конечно, законам истории. ...Клюев своею любовью к миру приобрел и нам дал уверенность в великой ценности всего, что окружает нас в мире. ...Религиозное постижение мира заставляет поэта принимать и Революцию, как сужденный человечеству шаг на пути к 'Порогу Несказанному'».²⁴⁴ Таков отзыв поэта — и притом участника некоторых «скифских» изданий. Но А. Воронский воспринимает «Песнослов» — и других поэтов-«скифов» совсем иначе. Говоря о невозможности для них стать воистину советскими поэтами, поэтами революции, он пишет: «Для них (Блока, Клюева, Есенина. БФ) революция ценна была в своей стихийности, бунтарстве. Диктатуры пролетариата, его разума и дисциплины они не понимали и не принимали. Но самое главное — у них нет ни скрупула, ни грана социализма... И вообще социализм им был чужд, так как все они — индивидуалисты».²⁴⁵ Всеволод Рождественский, несколько позднее писал: «Клюев 'Братских песен' и «Мирских дум'

был прост и лиричен. Подлинный, глубоко взрытый чернозем народной песни... 'Песнослов' — книга, написанная уже в городе, в окружении 'материалами по народному творчеству'; ее некоторая филологическая скованность все-таки не в силах победить нутряного песенного жара». ²⁴⁶

Выйти в свет «Медный Кит» и «Песнослов» могли, конечно, только потому, что в разных комиссиях и комиссариатах, ведомственных издательствах еще сидели друзья — «осколки разбитой вдребезги» русской культуры предреволюционного периода. Да и руководящие работники Коммунистической партии были в то время значительно интеллигентней — их еще не проредила до предела властная рука гениалиссимуса Сталина. Еще существуют и частные издательства — и даже журналы и газеты, существуют самые противоположные по сути и форме литературные группировки, от самых яро пролетарски-космических — до неославянофильских: литературный критик-эмигрант писал в те годы: «Никогда, быть может, за все существование российской поэзии, от 'Слова о полку Игореве' и до наших дней, — идея Родины, идея России не вплеталась так тесно в кружево и узоры созвучий и образов религиозно-лирических и символических вдохновений, — как в этих стихах 'советских поэтов', стихах служителей того режима, который, казалось, отменил самое понятие Родины и воздвиг гонение на всех, кто в политической области исповедовал 'любовь к Отечеству' и 'народную гордость'»...²⁴⁷ Существуют и самые разнообразные течения — от староверов-реалистов типа Петрова-Скитальца и до футуристов типа Бурлюка или Маяковского. Многие поэты, конечно, перерастают все эти группировки и течения, и к крупным поэтам никакие групповые ярлыки, понятно, неприложимы. Михаил Кузмин писал, что «Маяковский, Есенин, Клюев и Ивнев — сами по себе, я даже не знаю, к какой школе при быстрой смене ориентации они себя приписывают». ²⁴⁸

Нищета, разорение города и деревни, братобойная гражданская война, безбожная пропаганда. Голодные столицы зарастают «травой забвенья». Голод косит миллионы. Особенно голодают столицы. «Трава на петербургских улицах — первые побеги девственного леса, который покроеет место современных городов», — пишет в те годы Осип Мандельштам. ²⁴⁹ А зимой к голоду прибавлялся лютый холод.

Люди сбивались в одну комнату, к железной печке времянке. Возвращались к пещерному веку: «В пещерной петербургской спальне было так же, как недавно в новом ковчеге: потопно перепутаны чистые и нечистые твари. Красного дерева письменный стол; книги; каменно-вековые гончарного вида лепешки; Скрябин, опус 74; уют; пять любовно, добела вымытых картошек; никелированные решетки кроватей; топор; шифоньер; дрова. И в центре всей этой вселенной — бог, коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный пещерный бог: чугунная печка». (Евгений Замятин).²⁵⁰ Это еще хорошо, когда есть хотя бы самая малость дров. Виктор Шкловский рассказывает про зиму 1919 года в Петербурге: «Было холодно, топили книгами. В темном 'Доме Литераторов' отсиживались от мороза; ели остатки с чужих тарелок. ...Лопнули водопроводы, замерзли клозеты. Страшно, когда человеку выйти некуда».²⁵¹ Может быть, лучше всего передает всю трагичность Петербурга тех месяцев В. Зоргенфрей:

...Крест вздымая над колонной,
Смотрит ангел окрыленный
На забытые дворцы,
На разбитые торцы.
Стужа крепнет. Ветер злится.
Подо льдом вода струится,
Надо льдом костры горят,
Караул идет в наряд. ...
...В нише темного дворца
Вырос призрак мертвеца,
И погибшая столица
В очи призраку глядится.
А над камнем, у костра,
Тень последнего Петра —
Взоры прячет, — содрогаясь,
Горько плачет, отрекаясь. ...
...Желтый свет в окне мелькает.
Гражданина окликает
Гражданин:
— Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?

— Я сегодня гражданин,
Плохо спал:
Душу я на керосин
Обменял. ...²⁵²

«По великой Европейско-Российской равнине прекрасная прошла революция, метель метельная вылушила ветрами мертвое все, — умирать неживому. Сказания русских сектантов сбылись, — первый император российской равнины основал себе парадиз на гиблых болотах — Санкт-Питер-Бурх, — последний император сдал императорский — гиблых болот — Санкт-Питер-Бург — мужичьей Москве; слово *москва* значит: темные воды, — темные воды всегда буйны. Питербургу остаться — сорваться с *прямолинейной* — проспекта — в туман метафизик, в болотную гарь».²⁵³

Столица умирала: зверино голодала, люто холодала. Столица перенесена в Москву: быть Петербургу пусто. Знакомые, друзья, враго-друзья — — многие бегут за советские рубежи: Мережковские, Андрей Белый — и сколько еще! Недалека и смерть Блока: он умрет, «потому что дышать ему уже нечем: жизнь потеряла смысл» ...И никому, казалось бы, нет дела до стихов.. Никому? Нет, есть чудаки — голодные и в опорках, — которые еще собираются и читают прекрасные, обреченные стихи и повести. Издаются на невозможной — хуже газетной! — бумаге маленькие сборнички и альманахи, обложки к ним рисуют такие же голодные и оборванные Головин, Чехонин, Добужинский, Митрохин... «Записки Мечтателей», «Цех Поэтов», «Трилистник» — во всем этом — какая-то тоска умирания, безнадежного и бессыновнего: некому, очевидно, и передать свое задушевное, некому завещать запазушное, сокровенное. Оно только «себе самому на потребу». Немного позже, в феврале 1921 года, в проекте декларации издательства «Алконост», А. А. Блок напишет: «Группа писателей, объединившаяся в 'Алконосте', проникнута тревогой перед развертывающимися мировыми событиями, наступление которых она чувствовала и предсказывала, потому она обращена лицом не к прошедшему, тем менее — к настоящему, но к будущему».²⁵⁴ А несколько раньше, Блок говорил, что «настоящим и дышать невозможно, можно дышать только этим будущим»...²⁵⁵ Но и на будущее у многих исчезла всякая надежда... Нить преемства уже непоправимо

обрывалась. Но последние обломки великого крушения почти экстатически устремлялись к Последнему: к высочайшим пределам мысли и искусства. Так, в голодном и замерзающем Петербурге возникает — по инициативе А. Блока и А. Белого, Иванова-Разумника и С. Аскольдова — Вольная Философская Ассоциация — «Вольфила». Не остается от нее в стороне и Клюев: так, 24 октября 1920 г. в Вольфиле был вечер поэзии Клюева.²⁵⁶

Политическое удущье, нищета, голод гонят Клюева на Вытегру. И с любимым «жавороночком» — Есениным — почти разрыв. И как всегда — «почти»: Клюев и притягивает и отталкивает Есенина: «с Клюевым разошелся», пишет он 26 июня 1920 г. А. В. Ширяевцу: «...А Клюев, дорогой мой, — бестия. Хитрый, как лисица, и все это, знаешь, так: под себя, под себя. Слава Богу, что бодливой корове рога не даются. Поползновения-то он в себе таит большие, а силенки-то мало. Очень похож на свои стихи, такой же корявый, неряшливый, простой с виду, а внутри — черт». И Есенин советует Ширяевцу: «...брось ты петь эту стилизационную клюевскую Русь с ее несуществующим Китежом и глупыми старухами, не такие мы, как это все выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Все это, брат, было, вошло в гроб, так что же нюхать эти гнилые колодовые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого попахивает...»²⁵⁷

Эти годы Клюев живет в Вытегре со своей «последней», как он сам пишет в те годы, «любовью» — Николаем Ильичем Архиповым.²⁵⁸ Но и в Вытегре было голодно. Клюев неоднократно навещался в Петроград. В письме Р. В. Иванову-Разумнику, 4 декабря 1920, из Москвы, Есенин пишет: «Ну, а что с Клюевым? Он с год назад прислал мне весьма хитрое письмо, думая, что мне, как и было, 18 лет, я на него ему не ответил, и с тех пор о нем ничего не слышу. Стихи его за это время на меня впечатление производили довольно неприятное. Уж очень он, Разумник Васильевич, слаб в форме и как-то расти не хочет. А то, что ему кажется формой, ни больше ни меньше как манера, и порой довольно утомительная. Но все же я хотел бы увидеть его. Мне глубоко интересно, вот какой ощупью вот теперь он пойдет?»²⁵⁹ Возможно, именно это письмо Клюева имеет в виду А. Ма-

риенгоф: «В ту же зиму прислал Есенину письмо... Николай Клюев. Письмо сладкоречивое, на патоке и елее. Но в патоке клюевской был яд... ..Есенин читал и перечитывал письмо. К вечеру знал его назубок. Желтел, молчал, сунул брови и в гармошку собирал кожу на лбу. Потом дня три писал ответ... ..Выволакивал из темных уголков памяти то самое, от чего должен был так же пожелтеть Миколушка, как пожелтел сейчас 'Миколушкин сокол ясный'. Есенин соби-рался вести за собой русскую поэзию, а тут наставляющие и попечительствующие слова Клюева».²⁶⁰

Как вспоминает А. Назарова, жившая в 1920 году в одной комнате — в Москве — с Есениным и его сестрой Катей (подругой которой она была), Есенин получил в 1920 году письмо от Клюева:

«Умираю с голоду, болен. Хочу посмотреть еще раз своего Сереженьку, чтоб спокойней умереть».²⁶¹

«Есенин немедленно выехал за Клюевым и привез его к себе в Москву. 'Я увидела сытое, самодовольное и какое-то нагло-услужливое лицо...' — таково было первое впечатление А. Назаровой от Клюева. Далее А. Назарова вспоминает, что Клюев, 'как дьячок Великим постом', 'соболезновал о России, о поэзии и прочих вещах, погубленных большевиками... Говорилось это не прямо, а тонко и умно, точно он, невинный страдалец, как будто и не говорил ничего'». Дальше Назарова рассказывает о том тягостном впечатлении, какое произвел на Есенина Клюев: «Когда Клюев ушел, он начал говорить, какой он хороший, и вдруг, как-то смотря в себя: 'Хороший, но... чужой! Ушел я от него. Нечем связаться. Не о чем говорить. Не тот я стал. Учитель он был мой, а я его перерос'». Кончилось тем, что Клюев, мол, «зная, что у Есенина нет денег, ни поесть ни попить вдоволь у нас нельзя, потому что всего было в обрез..., продав книжку стихов за 50 червонцев, получил эти деньги и тихо, не зайдя даже проститься к своему Сереженьке, уехал сам в Ленинград. После этого Есенин никогда уже не говорил, что Клюев самый близкий ему человек, и не соби-рался спасать его от голодной смерти».²⁶² «Над башкой Иисус Христос в серебряной ризе, а в башке — корысть, зависть и злодейство», — говорил тогда же о Клюеве Есенин, как вспоминает А. Б. Мариенгоф.²⁶³

Все это, конечно, сильно окарикатурено. Благодаря трав-

ле Клюева, начиная с 1920-х годов, о нем или избегали прямо говорить, а говорили попутно, рассказывая о Есенине, о Блоке, — или всячески его поносили.

В 1920 году, как уже было сказано выше, вышли в — уже эмигрантском — издательстве левоэсеровского толка «Скифы» две брошюрки стихов Клюева: «Избяные песни» и «Песнь Солнценосца. — Земля и Железо».

Разрыв с Есениным все углублялся и углублялся. Этому весьма способствовало и то, что «долго еще, по привычке, критика подливала масла в огонь, величая Есенина 'меньшим клюевским братом'». ²⁶⁴ Этому способствовало и то, что не в конец разгромленное в те годы русское крестьянство еще имело своих «идеологов», выразителей своих чаяний, а эти последние, упоминая или не упоминая в своих писаниях Клюева, все-таки считали его как-бы своим если не вождем, то знаменем. Так, в 1920 году в Государственном издательстве вышла занятная книжка И. Кремнева (под этим псевдонимом скрылся известный политический и общественный деятель Александр Васильевич Чаянов) «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Вышла, правда, только первая часть этой утопической повести: вторая была сразу же зарезана цензурой. И первая-то часть вышла с «обезвреживающим» предисловием В. В. Воровского, также скрывшегося под псевдонимом П. Орловский. Автор предисловия, по всем правилам марксистской казуистики, следуя всем штампам большевистской печати, предупреждал читателя, что хотя «в революцию крестьянство в общем идет за пролетариатом как более развитым политически и более организованным собратом», но привести крестьянство к социализму — задача трудная, ибо «крестьянство не раз и долго еще будет проявлять тенденции к проявлению своих особых, узкокрестьянских, по существу реакционных идеалов, будет стараться цепляться за старое, сохранить отмирающее, восстановить ушедшее...», и т. д. Ну, а сама «крестьянская утопия» Кремнева представляла собой причудливую смесь «избяного рая» Клюева, староверческого пристрастия к временам Царя Алексея Михайловича — до Никона, конечно, модернистической культуры начала нашего века и утопических мечтаний Фурье. И все это — в клюевском ключе. Интересно, что действие повести отнесено к 1984 году — году, каким названа антиутопия Орвелла. Нет больше го-

родов-спрутов, вся страна — это мириады мелких автономных крестьянских трудовых хозяйств, государственная централизация сведена к самому необходимейшему минимуму, система управления — советская — советы трудового народа, но есть и дозволенные «исключения»: «так, в Якутской области у нас парламентаризм, а в Угличе любители монархии завели 'удельного князя', правда, ограниченного властью местного совдепа». Советская страна крестьянской утопии ведет даже войны с другими советскими же, но чисто пролетарскими, странами Европы... В стране крестьянской утопии костюмы жителей — вроде одежд времен царя Алексея, но крестьянская Русь не обходится без современного искусства: «у шумящего самовара» рассуждает о мастерстве Ван-Гога, а «на кремлевских колоколах в сотрудничестве с колоколами других московских церквей» исполняется государственный гимн — «Прометей» Скрябина и ростовские звоны XVI века. Не презрена и простонародная музыка, и тут же — рядом со Скрябиным и Ван-Гогом — «двухрядная гармоника наигрывала польку с ходом». А народные спортивные состязания «на звание первого игрока в бабки» происходят на стадионах, украшенных бюстами Гераклита, Платона, Пифагора...²⁶⁵

Все это не только пронизано Клюевым и воззрениями поэтов его окружения, но и просто соответствует во многом самой натуре Клюева, совмещающем в себе и архаику и модернизм, и утонченную философичность и мужицкую хитринку и смекалку, и староверство и богоборчество...

Конечно, такие публичные выступления, как книжка Кремнева, немедленно пресекались. Кроме разгрома в открытой печати, еще более страшным для «провинившегося» был разнос в закрытых отзывах-доносах, не подлежащих опубликованию. Так, сохранился отзыв на книгу Кремнева известного возглавителя религиозных погромов, главы советских безбожников Емельяна Ярославского: «Крестьянская реакционная утопия с возвращением к индивидуальному хозяйству, славянофильству, к национализму, к коалициям печатается на великолепной бумаге в 1920 году в Гос. Издательстве в то время как у нас не хватает букварей для ликвидации неграмотности, когда мы сокращаем тираж газет и печатаем их на оберточной бумаге».²⁶⁶

В те годы голодный, нищий Клюев, Клюев затравленный,

загнанный в глухую Вытегру, оказывается властителем дум, с ним должны считаться и противники, как с крупной — не только поэтической — силой, как с большой «опасностью». Все это разжигало и без того сильную зависть и вражду к Клюеву у Есенина. Прежнее преклонение перед ним и перед Блоком сменяется лютой враждой и мальчишеским — и крайне неграмотно-самоуверенным — желанием принизить, в том числе и в чисто формальном плане. В мае 1921 года, находясь в Ташкенте, Есенин видится с А. Ширяевцем и в дарственной надписи на своей книге «Исповедь хулигана» пишет: «...Я никогда не любил Китежа и не боялся его, нет его и не было, как не было и тебя и Клюева. Жив только русский ум, его я люблю, его кормлю в себе: поэтому мне не страшно, и не город меня съест, а я его проглочу (по поводу некоторых замечаний о моей гибели)».²⁶⁷ Там же, в Ташкенте, он пишет Иванову-Разумнику длинейшее письмо (в начале мая), письмо со многими вычеркиваниями и перечеркиваниями, оставшееся неотправленным и сохранившееся в архиве А. В. Ширяевца. Письмо настолько характерное, настолько важное не только для понимания взаимоотношений между Есениным и Клюевым, но и для уяснения литературной обстановки тех лет, что его следует привести в больших отрывках:

«Я очень много думал, Разумник Васильевич, за эти годы, очень много работал над собой, и то, что я говорю, у меня достаточно выстрадано. Я даже Вам в том письме не все сказал, по-моему, Клюев совсем стал плохой поэт, так же как и Блок. Я не хочу этим Вам сказать, что они очень малы по своему внутреннему содержанию. Как раз нет. Блок, конечно, не гениальная фигура, а Клюев как некогда пришибленный им не сумел отойти от его голландского романтизма [и оболгал русских мужиков в какой-то не присущей им любви к женщине, к Китежу, к мистически-религиозному тяготению (в последние годы, конечно, по Штейнеру и по Андрею Белому) и показал любовь к родине с какого-то не присущего нам шовинизма. 'Деду Киеву пошла алый краковский жупан' (жупан — знак вольности)], но все-таки они (кое-что), конечно, значат много. Пусть Блок по недоразумению русский, а Клюев поет Россию по книжным летописям и ложной ее зарисовки всех проходимцев, в этом они, конечно, кое-что сделали. Сделали до некоторой степени

даже оригинально. Я не люблю их, главным образом, как мастеров в нашем языке. Блок — поэт бесформенный. Клюев тоже. У них нет почти никакой фигуральности нашего языка. У Клюева они очень мелкие ('черница темь сядет с пальцами под окошко шить златны воздухи', 'Зой ку-ку загозье гомон с гремяю шыргунцами вешает на сучья', 'туча ель, а солнце белка с раззолоченным хвостом' и т. д.). А Блок исключительно чувствует только простое слово по Гоголю, что 'слово есть знак, которым человек человеку передает то, что им поймано в явлении внутреннем или внешнем'. Дорогой Разумник Васильевич, 500,600 корней хозяйство очень бедное, а ответвления словесных образов дело довольно скучное, чтобы быть стихотворным мастером, их нужно знать дьявольски. Ни Блок, ни Клюев этого не знают, так же как и вся братия многочисленных поэтов. Я очень много болел за эти годы, очень много изучал язык и к ужасу своему увидел, что ни Пушкин, ни все мы, в том числе и я, не умели писать стихов. ...Вот с этой, единственно только с этой точки зрения я писал Вам о Блоке и Клюеве во втором своем письме. Я, Разумник Васильевич, не особенный любитель в поэзии типов, которые нужны только беллетристам. Поэту нужно всегда раздвигать зрение над словом. ...Не люблю я скифов, неумеющих владеть луком и загадками их языка. ...»²⁶⁸

Тем не менее, окончательно связь не порывалась. В том же 1921 году Клюев пишет Есенину:

«Живу в Вытегре, городишко с кулачок... в старом купеческом доме. Теперь я нищий и оборванный, изнемогающий от постоянного недоедания... Я целые дни сижу на хлебе пополам с соломой, запивая его кипятком, бессчетные ночи плачу один-одинешенек и прошу Бога только о непостыдной и мирной смерти».²⁶⁹

В декабре 1921 года Есенин пишет Клюеву из Москвы: «Мир тебе, друг мой! Прости, что не писал тебе эти годы и то, что пишу так мало и сейчас. Душа моя устала и смущена от самого себя и происходящего. Нет тех знаков, которыми бы можно было передать все, чем мыслю и от чего болею. А о тебе я всегда помню, всегда во мне ты присутствуешь. Когда увидимся, будет легче и приятней выразить все это без письма. Целую тебя и жму твою руку».²⁷⁰

В самом начале 1922 года, в частном книгоиздатель-

стве «Эпоха», в Петербурге, выходит маленькая книжка Клюева — поэма «Четвертый Рим». Это — и сугубо-личный, и политический, и поэтический и — отчасти — историософский выпад против Есенина. Клюев чувствует себя покинутым самым близким. Другому близкому посвящает он поэму: тому, с кем вместе живет эти годы в глухоманной Вытегре: Николаю Архипову. (Ему же, при передаче своей фотографии, пишет Клюев в то же время:

Портретом ли сказать любовь,
Мой кровный, исповедимый!.. ...
...О, только б обручить любовь
Созвучьям — опьяненным пчелам...²⁷¹)

Но Есенин — все-таки самая большая любовь Клюева. А обрядился вот в цилиндр, в лакированные башмаки, отошел от «старшего брата», сблизившись с имажинистами, еще со всякими там... И Клюев кричит: «Не хочу быть знаменитым поэтом в цилиндре и в лаковых башмаках»:

Я сплел из слов, как закат, лаптище
Баюкать чадо — столетий зык. ...
...Стихи — огневища о милой невесте,
Чьи ядра — два вепря, два лютых орла. ...

Он, Клюев, певец не только духа, но и земли, но и плоти, но плоти с землей родственной:

О плоть — голубые нагорные липы,
Где в губы цветений вонзились шмели,
Твои листопады сгребает Архипов
Граблями лобзаний в стихов кошели!

Он, Клюев, не променял душу на цилиндр и башмаки, он верен:

...зыбке плакучей, родимой,
Могилушке маминой, лику гумна...
...Зато на моем песнолиственном дубе
Бессмертия птица и стая веков...

«Четвертый Рим») зареет в песнях-упованиях народа русского: Русь не урбанистическая, не индустриальная, а обетованная страна Матери Сырой Земли и бессмертия:

Подарят саван заводским трубам
Великой Азии пески...

И — не только Русь: весь мир, все мироздание... Не будет он, Клюев, воспевать ляг машин, город с его шумами и дымами:

Лучше сгинуть в песках Чарджуев
С мягкозадым бачей-сартенком...*)

И Клюев шлет городу, городскому пафосу, индустриальной обезличке человека — анафему. Конечно, сильны в поэме и ее гомосексуальные элементы.

Поэма вызвала самые различные отклики. Недалекий Сергей Городецкий писал в 1926 году: «Этим своим цилиндром, своим озорством, своей ненавистью к деревенским кудрям Есенин подымал себя и над Клюевым и над всеми другими поэтами деревни... И хитрый Клюев очень понимал значение этих чудачеств для внутреннего роста Есенина. Прочтите, какой искренней злобой дышат его стихи Есенину в 'Четвертом Риме'» ...Городецкий несет дальше совсем уже смешные вещи: цилиндр-де и лаковые башмаки — это чуть ли не марксистско-ленинская прививка, чтобы «бытом имажинизма» бороться с инфекцией идеализма Вячеслава Иванова и, особенно, Клюева: «Но, увы! Даже Клюев не понял, что яд лежал глубже, что Есенин был отравлен сильнее, что опасность смертельного исхода заболевания идеализмом была ближе...»²⁷² Лев Троцкий смотрел однобоко, но зорко: «Клюев увидел в этом измену мужицкому корню и бранливо мылил младшему голову — ни дать, ни взять богатый братан, выговаривающий брательнику, который решил жениться на городской шлюхе и записаться в голоцтанники

*) Бача — мальчик-наложник. В среднеазиатских республиках СССР были даже комитеты «по борьбе с бачебайством» — по продаже родителями мальчиков богачам-«баям».

...У Есенина нет клюевской солидности, угрюмой и напыщенной степенности... Клюев же целиком сложился в довоенные годы, и если на революцию и войну откликается, то в пределах очень замкнутого своего консерватизма». «Странная книжка... — писал тогда же Э. Бик (С. Бобров). — Тема ее: 'не хочу быть имажинистом'. Но так как пока это ни для кого ни в малой степени не обязательно, то часть пафоса автора, разлагаясь в недоумении, исчезает для читателя».²⁷⁴ Анонимный рецензент в полусменовеховской берлинской «Новой Русской Книжке» недоумевает также: «Стихотворение Клюева (150 строк), почему-то удостоившееся издания отдельной книжечкой, все построено на той теме, что Клюев не хочет быть Есениным... ...Ходит ли Есенин в лаковых башмаках, а Клюев в лаптях, это их дело семейное, и, право, ни для кого, кроме разве неврастенических девиц из 'скифов' неинтересное».²⁷⁵ Большевики, однако, поняли отлично основную направленность книжки. Понял это, например, Михаил Павлов: «За песни его (Клюева, БФ) об этой темной лесной стихии мы должны быть Клюеву благодарны: врага нужно знать и смотреть ему прямо в лицо».²⁷⁶ Итак, слово найдено: Клюев — в р а д. Друзья же приветствуют поэта, даже излишне восторженно. Иванов-Разумник, например, пишет о поэме: «Теперь... о другой радости — уже не нечаянной: о новой небольшой поэме Н. Клюева 'Четвертый Рим'. Неожиданного в ней нет ничего для знакомых с последними годами творчества этого поэта, с теми его стихами, которые собраны в книге 'Львиный Хлеб' (скоро появится в печати); осознавший свою силу Илья Муромец размахивается в последних своих стихах и бьет, как в былинах, 'по чем попадая'. Впрочем, Илья по силе (сила — громадная!), он скорее Алеша Попович по хитрости: раньше пробовал рядиться 'в платье варяжское', да скоро увидел, что сила его — в своем, исконном, и не без лукавства сильно ударил по этой струне своего творчества. И силу свою осознал»... «И песня эта — для него сила действенная, — не Сталь победит мир (нет — '...сядет Ворон на череп стали'!), а духовный взрыв приведет к 'Четвертому Риму'; в силу 'стальных машин, где дышит интеграл', не верит 'мужицкий поэт' ...Но победа — будет, и духовным предтечей ее сознает себя поэт. ...Самонадеян зах-

ват поэмы; но Клюев — имеет право на самонадеянность: сидач! Техником стиха его недаром восторгался Андрей Белый; но недаром он и боялся того духа, который сквозит за 'жемчугами Востока' стихов Клюева. "...Торжественной песнью плоти является вся первая часть 'Четвертого Рима'..."²⁷⁷

Есенин был в бешенстве. 6 марта 1922 г. он пишет (из Москвы) Иванову-Разумнику, вначале сдерживаясь и стараясь быть объективным и спокойным: «...уж очень мы все рассыпались, хочется опять немного потесней, 'в семью едину', потому что мне, например, до чертиков надоело вернуться с моей пустозвонной братией (имажинистами, БФ), а Клюев засыхает совершенно в своей Баобаби (Вытегре; «баобаб» — нередкий гость клюевских стихов, БФ). Письма мне он пишет отчаянные. Положение его там ужасно, он почти умирает с голоду. Я восторжествовал здесь всю публику, сделал для него что мог с пайком и послал 10 миллионов руб. Кроме этого, послал еще 2 миллиона Клычков и 10 — Луначарский. Не знаю, какой леший заставляет его сидеть там? Или 'ризы души своей' боится замарать нашей житейской грязью? Но ведь тогда и нечего выть, отдай тогда тело собакам, а душа пусть уходит к Богу. Чужда и смешна мне, Разумник Васильевич, сия мистика дешевого православия, и всегда-то она требует каких-то обязательно неумных и жестоких подвигов. Сей вытегорский подвижник хочет все быть календарным святителем вместо поэта, поэтому-то у него так плохо все и выходит. 'Рим' его, несмотря на то, что Вы так тепло о нем отозвались, на меня отчаянное впечатление произвел. Безвкусно и безграмотно до последней степени со стороны формы. 'Молитв молоко' и 'сыр влюбленности' — да ведь это же его любимые Мариенгоф и Шершеневич со своими 'бутербродами любви'. Интересно только одно фигуральное сопоставление, но, увы, — как это по-клюевски старб!.. Ну, да это ведь попрек для него очень небольшой, как Клюева. Сам знаю, в чем его сила и в чем правда. Только бы вот выбить из него эту оптинскую дурь, как из Белого — Штейнера, тогда, я уверен, он записал бы еще лучше, чем 'Избяные песни'. ...Нужно обязательно проветрить воздух. До того накурено у нас сейчас в литературе,

что просто дышать нечем».²⁷⁸ И — злость на Клюева — и известное послушание: с имажинистами намечается уже разрыв. И даже в стихах — как бы ответ: «Я хожу в цилиндре не для женщин...» А 5 мая того же года Есенин пишет уже Клюеву самому: «Милый друг! Все, что было возможно, я устроил тебе и с деньгами, и с посылкой от 'Ара'»). На днях вышлю еще 5 миллионов. Недели через две я еду в Берлин, вернусь в июне или в июле, а может быть, и позднее. Оттуда постараюсь также переслать тебе то, что причитается со 'Скифов'. Разговоры об условиях беру на себя и если возьму у них твою книгу, то не обижайся, ибо устрою ее куда выгодней их оплаты.**) Письмо мое к тебе чисто деловое, без всяких лирических излишаний, а потому прости, что пишу так мало и скупно. Очень уж я устал, а последняя моя запойная болезнь совершенно меня сделала издерганным, так что даже и боюсь тебе даже писать, чтобы как-нибудь беспричинно не сделать больно. В Москву я тебе до осени ехать не советую, ибо здесь пока все в периоде организации и пусто — хоть шаром покати. Голод в центральных губерниях почти такой же, как и на севере. ...Перед отъездом я устрою тебе еще посылку, может, как-нибудь и повертись. Уж очень ты стал действительно каким-то ребенком — если этой паршивой спекулянтской 'Эпохе' за гроши свой 'Рим' продал. Раньше за тобой этого не водилось. Вещь мне не понравилась. Неуклюже и слашаво. Ну да ведь у каждого свой путь. От многих других стихов я в восторге. Если тебе что нужно будет, пиши Клычкову, а ругать его брось, потому что он тебя любит и сделает все, что нужно. Потом можешь писать на адрес моего магазина ...книжный магазин художников слова. Это на случай безденежья. Напишешь, и тебе вышлют из моего пая, потом когда-нибудь сочтемся. С этой стороны я тебе ведь тоже много обязан в первые свои дни. ...Привет и целование».²⁷⁹

В воспоминаниях лиц, близко знавших Есенина, то и

*) АРА — Американская Организация Помощи Голодающим. Спасла многих в России от голодной смерти. Благодарное советское правительство назвало впоследствии эту организацию «шиионской»...

**) Речь идет о повторном издании книги Клюева «Львиный Хлеб» в берлинском издательстве «Скифы», 1922 (38 стр.).

дело встречаются его самые противоречивые высказывания о Клюеве. И дело тут не столько в естественной пристрастности памяти мемуаристов, сколько в чрезвычайной противоречивости, изменчивости самих взаимоотношений Есенина и Клюева. М. Бабенчиков рассказывает о Есенине, что «дружба с Клюевым он вспоминал как мрачную полосу».²⁸⁰ В воспоминаниях пролетарского поэта Владимира Кириллова передается его разговор с Есениным: «Мне кажется, что Клюев оказал на тебя некоторое влияние?» — Может быть, вначале, а теперь я далек от него — он весь в прошлом».²⁸¹ Но, встретившись вскоре с Кирилловым, Есенин остановил его и сказал: «Ты знаешь, то, что я говорил тебе о Клюеве, — неправда. Клюев — мой учитель и я его очень люблю и ценю».²⁸² По воспоминаниям Ивана Старцева Есенин «из современников любил Белого, Блока и какой-то двойственной любовью Клюева».²⁸³ Оправдываясь, Есенин говорил: «Разве я виноват в том, что я такой! ...Я признаю влияние на меня Блока, Клюева... Вот они влияли на меня! Я ведь никогда этого не скрывал!»²⁸⁴ — так рассказывает Иван Грузинов. А В. Эрлих рассказывает: Есенин возмущался: «Они говорят — я от Блока иду, от Клюева. Дурачье! У меня ирония есть. Знаешь, кто мой учитель? Если по совести... Гейне мой учитель!»²⁸⁵ А 26 февраля 1921 года, почти одновременно с этими высказываниями, Есенин говорил И. Н. Розанову: «С Клюевым мы очень сдружились. Он хороший поэт, но жаль, что второй том его 'Песнослава' хуже первого».²⁸⁶

В том же 1922 году выходит книга стихов «Львиный Хлеб». Это — манифест. Книга неославянофильская. Значительная часть тиража этой книги была вскоре уничтожена. Книгу замалчивали — и замолчали. Почти не было рецензий, ее едва-едва упоминали. За рубежом, по заданию Москвы, в сменовеховской газете «Накануне», на «Львиный Хлеб» обрушивается А. Кусиков. Он всячески издевается над «книгой старательных пророчеств», воскуря фимиам прежнему Клюеву.²⁸⁷ Но в книге — сквозь пестрядь слов, иногда чрезмерную нагроможденность образов, угловатость мыслей и условную клюевскую географию сказочного евразийства — проступает замечательный образ Руси — мужицкого рая, Невидимого Града, хлебно-духовного вызревания и вырастания.

Увы, Ленин, на которого надеялся Клюев, — отнюдь не

«игумен Поморских Ответов» — и клюевских мужикословствующих стихов он не возлюбил. Да, очевидно, и не догадывался о их существовании: ведь его вкусы не шли дальше бездарнейшего Чернышевского и худших, но зато с социалистической слезой, стихов Некрасова. А как «вождь» мужиков-староверов и земледельцев — он и вовсе оказался «антихристом». И поэт, отчаявшись, раскаявшись, вопит покаянные песни. Нет, коммунизм — не из Новгорода, Рязани и Москвы родом. Он — от Петра и материалистического и атеистического Запада, а «домик Петровский — не песня Есенина», — и Русь ждет гостей с Запада, но как *гостей*, а не владык-реформаторов. Рада Русь повысмотреть и диковины заморские, как ядерная деревенская девка рада расторопному коробейнику с немецким товаром: «Проедет ли Маркони, Менделеев»... Но только — не душить тишину, не убивать Начальника Тишины духовной — Духа Святого — гудками заводов и автомобилей: «Маяковскому грезится гудок над Зимним», — так прочь и Маяковского! Пусть органически, в соборную личность сольются Восток и Запад. А чужеродное, органически не усвоенное, — погань, украшательство лакейское. Его надо смыть. И, может быть, революция — кровавая баня духа, смывающая неорганически усвоенную и изъязвившуюся цивилизацию с живого тела народа, Руси:

Только в ветре порох и гарь...
Не заморскую ль нечисть в баньке
Отмывает тишайший царь?...

Простой, как мычание, и облаком в штанах казинетовых
Не станет Россия, так вещает Изба.

У России — свой путь, своя судьба, своя статья, своя краса и своя вера. И революция — не путь. Может быть, только пропятие. Индустриализацией и пятилетками еще и не пахнет, но поэт уже чувствует грядущие дни железного раскулачивания, голодных и разутых пятилеток ускоренного преобразования Руси в СССР. И поэт, уже в начальные годы революции, отмахивается:

Не знать бы «масс», «коллектива», —
Святых имен на земле..

Цилиндр и лаковые ботинки Есенина — лакейская попытка подпaska, облачившегося в бариновы обноски, подбоченившись, стать фертом перед мужиком. И еще тысячекратно гнуснее — его же лакейское — в угоду властям пре-держажим — кощунство, богохульство: но оно чревато неотвратимым возмездием:

От оклеветанных Голгоф
Тропа к Иудиным осинам...
...И опадает песни сад
Над материнским строгим гробом...

Гробом Матери-земли, гробом Матери-Руси, гробом народного Бога... Деревенский зажиток — не кулачество, не зло, с которым нужно бороться деревенскими «комбедами» и правительственными декретами, — поучает Клюев. Нет, в крестьянском скопидомстве — накопление общенародных богатств и культуры, мысли и святости, собиране Земли Русской и всех ее устоев; нажиток тысячелетий, исконная земляная сила — она же — живые истоки творчества, разума, божественной полноты:

Когда златится солома,
Оперяются озима,
Мы в черте алмазной, мы дома
У живых истоков ума.

И вспоминает Клюев, что не Есенин только, — а и он, Клюев, кощун и грешник, не раз отрекавшийся от Бога своего: и восклицает в горечи сердечной:

О, распните меня, распните
Как Петра — головою вниз!

«Но не в том вопрос, с кем наша душа, вопрос в том — с кем Россия, с кем наше будущее. И поэт Земли отвечает на это поэту Машины:

Маяковскому грезится гудок над Зимним,
А мне — журавлиный перелет и кот на лежанке:
Брат мой несчастный, будь гостеприимным... ...

Только в думках поддонных, в сердечных домнах
Выплавится жизни багровое золото.

Поэт, конечно, прав — и его земляные 'поддонные думы' безмерно глубже истощенного орева духовно-плоского футуризма; но за последним, независимо от воли его, стоит другая правда — правда усложняющейся жизни Города. Две правды, две мистерии — надо ль нам бесповоротно осудить одну, возвеличить другую?» — спрашивает Иванов-Разумник.²⁸⁸

Если «Четвертый Рим» и «Львиный Хлеб» насыщены до предела полемикой, то «Мать-Суббота», третья книга Клюева, вышедшая в том же 1922 году (изд. «Полярная Звезда»), уже канон. Недаром на всем протяжении поэмы повторяется, как припев, как «зачало», великолепное: «Ангел простых человеческих дел»... Посвящена поэма — «Николаю Ильичу Архипову — моей последней радости!» Не платформа это мужицкая, даже не «Мужикослов», а — мистика Земли, древняя, исконная мистика зерна-прорастания, опары, Матери-материнства, жизни, оплодотворения. На эту замечательную книжку, быстро, подозрительно быстро исчезнувшую из оборота, откликнулись, пожалуй, только поэт Всеволод Рождественский, да писательница Ольга Форш. Попутно выругал Клюева в те дни сделавшийся околосмартсистом В. В. Сиповский. Вот и все. А это — одна из вершин русской поэзии послереволюционных лет. Есть в этой поэме отзвуки и писем А. Н. Шмидт — понимание Духа Святого, как Женской Ипостаси в Св. Троице:

Сладок Отец, но пресладостней Дух —
Бабьего выводака ястреб — пастух...

И вся поэма пронизана небывалым в русской поэзии прославлением Жены-Матери:

Улей ложесн двести семьдесят дней
Пестует рой медоносных огней...

Колоритную картинку Клюева у молодых — тогда — литераторов и литературоведов-формалистов, Клюева, читающего им «Мать-Субботу», рисует в полудокументальной

повести «Сумасшедший Корабль» Ольга Форш: «...Итак, под треск пулеметов, под гул орудий, под гибель интеллигентского эсерства, такого русского в своей романтике, с неслыханной идеей террора, возведенного в систему, — мужицкий гений Микулы принес молодым свое русское древнее слово. Он вошел к ним, приземистый, обросший, тяжкий, земляной, как Вий, он не сел, он остался стоять. Стоя читал:

Ангел простых человеческих дел
В душу мою жаворонком влетел...

Читая Микула разъярялся. Космы отросших волос ему прыгнули на глаза. Он сквозь космы сверлил голубыми, пьяными от лирных волнений и сверкающими, и гаснущими от вспененных чувств взорами. Порой, — как одержимый элевзинским таинством, помавая тирсом, воскликнет вдруг 'эвоэ'! — он взрывал мощным голосом:

Радуйтесь, братья, беременен я
От поцелуев и ядер коня.

И к черту — рыцарство, с худосочной дамой, дантову Розу, россианскую красную-девицу, все начало женское, змею, кусающую собственный хвост... Прославлена от земли в зенит вертикаль. И она — мать, рождающая самосильно. Никогда, может быть, не было такого возвеличения начала женского, идеи женской, — церковью, философией, бытом хитро сведенной к метафизическому и всякому 'приложению' мужчины. В этой мужицкой, хлыстовской, глубоко-русской концепции, впервые женщина возносилась в единицу самостоятельной ценности, как мать. Прочее все — дама, роза, мистика, дева — отметається, как баловство. Вскрывались внезапно и находили оправдание глубины народные, даже то, что казалось бессмыслицей и похабством. И вдруг подумалось — быть может, бессознательной тягой к лону матери, тягой к темному, уберегающему материнскому охранению и досадой, что его уже нет, объясняется происхождение всего ужасающего, единственного в мире российского мата. Окончил Микула стихи свои плача... ..Молодые.. заговорили по очереди. Они отлично поняли и оценили силу стиха, богатство образов, узор языка, но им было *все равно*. Они кондовую мощь Микулы восприняли со стороны, как

иностранцы... ..Весь пафос Микулы, который целиком зачался, рос и ветвился славянской вязью, был для них таким же прошлым, как земля на китах... ..Но зато Микуле они разъяснили его самого всеми методами, напоследок формальными. Микула молча шарахнул острым взглядом по углам — образов, конечно, уже не было — шарахнул по внимательным вежливым молодым, прослушавшим его, старого, и сказал, как несытый:

— Пойти бы куда... дух томится». ²⁸⁹

Вот так формалистически подошел к «Матери-Субботе» и Всеволод Рождественский: «Лучший пример неудачного идеологического построения — поэма 'Мать-Суббота'. Тягучая пряжа, прошитая прекрасным рефреном: 'Ангел простых человеческих дел', показывает привычное уже мастерство Клюева — нанизывателя олонецкого жемчуга. Что ни строчка, то метафора, но какого-то обнаженно-лингвистического порядка. Прием побеждает дух. Если рассыпать эту густо нанизанную нитку, сколько прекрасных жемчужин можно поднять, не заботясь о конечном узоре!» У самого Вс. Рождественского формалистический прием победил духовное понимание поэмы: за деревьями великолепнейших клюевских метафор не усмотрел Рождественский высокого леса одной из наиболее «федоровских» поэм Давида Христовского Корабля... Вот внешнюю красу поэмы он понял: «Я советую перелистывать эту прелестную книжку с конца, с середины. Каждая строчка ее маленьких глав — отдельное стихотворение, которое Сергей Клычков или Петр Орешин развернули бы строфы на четыре. У хитрого Клюева слова на счету. Он скуповат, этот олонецкий сказочник. Он расточителен только в воображении. И тут уже конечно границ его дарования не учесть никакому 'Обществу научного изучения фольклора'». Рождественский пишет, что Клюев никогда не бывает элементарен и неинтересен, «несмотря на свои большие срывы». ²⁹⁰

Почти одновременно типичный литературовед-педант, ставший в те годы околomarксистом, набросился на Клюева вообще: «Читаешь стихотворения Клюева и порой недоумеваешь, в каком веке живешь — в XX или в XVI-XVII? Духовными стихами, поэзией раскола проникнута эта поэзия». ²⁹¹

Нищий поэт зажиточной полнокровной жизни, почти не допускаемый в журналы, живет Клюев странником-поби-

рухой, скитаясь из Петербурга в Москву, из Москвы — в Вытегру или в Кириллов Белозерский монастырь, снова в Петербург, в Каргополь, в Заонежье. Даже в далеком северокавказском Армавире побывал он в эти годы. Сохранились глухие указания на то, что Н. Клюев был около этого времени арестован в Москве: не то за «кражу» во время изъятия церковных ценностей, не то за какие-то паспортные неполадки...

В это время, под предлогом «помощи голодающим Поволжья», Советы изымали церковные ценности из храмов и монастырей. Делалось это грубо, с кровавыми насилиями, не обращалось внимания ни на религиозное значение, святость изымаемых ценностей, ни на их высокую художественную значимость. Анна Ахматова описала с предельной художественной конкретностью это «совлечение риз» с видимой, земной церкви и ее святителей:

...И выходят из обители,
Ризы древние отдав,
Чудотворцы и святители,
Опираясь на клюки..
...Провожает Богородица,
Сына кутает в платок,
Старой нищенкой оброненный
У Господнева крыльца. (1922)²⁹²

Возможно, что Клюев утаил от производивших изъятия какую-нибудь чтимую или старописную икону — он был их большим знатоком и ценителем: это делали тогда многие, чтобы спасти для церкви ее достояние. Возможно, что арестовали Клюева и из-за каких-нибудь непорядков с его документами. Это скорее всего, так как сохранилась до сих пор неопубликованная и недатированная записка Есенина к Галине Артуровне Бениславской: «Галя, милая! Заходил. К сожалению не мог ждать. За вчерашнее обещание изви-няюсь. Дулся в карты. Домой пришел утром. Разыграл Мариенгофа и Приблудного. В общем скучно. Иду на совещание относительно Клюева с паспортной братией. С. Есенин».²⁹³

7 августа 1922 г. в Петербургском Доме Литераторов Клюев читает свои воспоминания об Александре Блоке.²⁹⁴

Воспоминания эти были написаны много раньше, так как их собирались опубликовать «Записки Мечтателей» в № 6-7.²⁹⁵ Воспоминания эти опубликованы не были и рукопись их, повидимому, утрачена.

Еще в 1919 году создал Есенин «Ассоциацию вольнодумцев в Москве». А в 1923 г., вернувшись из-за границы, решил издавать при этой ассоциации журнал: не то тоже под названием «Вольнодумец», не то под названием «Россияне». «Я спросил, — рассказывает секретарь ассоциации М. Ройзман, — кто намечен в сотрудники 'Вольнодумца'. Сергей сказал, что для прозы у него есть три кита: Иванов, Пильняк, Леонов. Для поэзии старая гвардия: Брюсов, Белый, Блок — посмертно. Еще: Городецкий, Клюев».²⁹⁶ «...В последнее время у него (Есенина, БФ) были попытки примирения с Клюевым, попытки совместной работы. Так, в 1923 году, когда обозначился уход Есенина из группы имажинистов, он прежде всего обратился к Клюеву и хотел восстановить с ним литературную дружбу. — Я еду в Питер, — таинственным шепотом сообщает мне Сергей, — я привезу Клюева. Он будет у нас главный, он будет председателем 'Ассоциации вольнодумцев'. Ведь это он учредил 'Ассоциацию вольнодумцев'! — Клюева он действительно привез в Москву. Устроил с ним несколько совместных выступлений. Но прочных литературных взаимоотношений с Клюевым не наладилось. Стало ясно: между ними нет больше точек соприкосновения... Со стороны Есенина это была последняя попытка совместной литературной работы с Клюевым. Личными друзьями они остались: Есенин, приезжая в Ленинград, считал своим долгом посетить Клюева. К последним стихам Клюева Есенин относился отрицательно. Осенью 1925 года Есенин, будучи у меня, прочел 'Титарную' Клюева, напечатанную в ленинградской 'Красной Газете'. — Плохо! Никуда! — вскричал он и бросил газету под ноги».²⁹⁷ Так рассказывает Ив. Грузинов. Нужно принять во внимание, что все цитируемые воспоминания о пребывании Клюева в Москве в 1923 году принадлежат близким друзьям Есенина, людям, явно настроенным против Клюева, а потому далеко не объективным. Но других источников информации мы лишены: Клюев к этому времени уже «идеолог кулачества», «классовый враг», — и о нем писать было рискованно: можно было только ругать или окарикатуривать. Однако, и сквозь эти

карикатурные описания прорывается нечто, во всяком случае, о взаимоотношениях его с Есениным.

Судя по воспоминаниям артистки А. Л. Миклашевской, эта встреча поэтов в Москве произошла во второй половине октября: «Очень не понравился мне самый маститый его друг — Клюев. По просьбе Есенина он приехал в Москву. Когда мы пришли в кафе, Клюев уже ждал нас с букетом. Встал навстречу. Волосы прилизанные. Весь какой-то ряженый, во что-то играющий. Поклонился мне до земли и заговорил елейным голосом. И опять было непонятно, что было общего у них... ..Клюев опять говорил, что стихи Есенина сейчас никому не нужны. Это было самым страшным, самым тяжелым для Сергея, и все-таки Клюев продолжал твердить о ненужности его поэзии. Договорился до того, что, мол, Есенину остается только застрелиться. После встречи со мной Клюев долго уговаривал Есенина вернуться к Дункан».²⁹⁸

Несомненно еще более окарикатуренную, крайне искаженную, но по-своему колоритную картинку этого свидания поэтов рисует А. Б. Мариенгоф: «Есенин еще печатался в имажинистской 'Гостинице для Путешествующих в Прекрасном', но поглядывал уже в сторону 'мужиковствующих'. Подолгу сидел с Орешинным, Клычковым, Ширяевцем в подвальной комнатке 'Стойла Пегаса'. Ссорились, кричали, пили. Есенин хотел жокаковать. В затеваемом журнале 'Россияне' требовал: — Диктатуры! — Орешин злостно и мрачно показывал ему шиш. Клычков скалил глаза и ненавидел многопудовым завистливым чувством. Есенин уехал в Петербург и привез оттуда Николая Клюева. Клюев раскрывал пастырские объятия перед меньшими своими братьями по слову, троекратно лобызал в губы, называл Есенина 'Сереженькой' и даже меня ласково гладил по колену, приговаривая: — Олень! олень! — Вздыхал об олонекской избе и до закрытия, до 4-го часа ночи, каждодневно сидел в 'Стойле Пегаса', среди визжащих фокстроты скрипок и краснотубой, пусто-сердечной и площадноречивой толпы, отрыгивающей винным духом, пудрой 'Леда' и мутными тверскобульварными страстишками. Мне нравился Клюев. И то, что он пришел путями Господними в 'Стойло Пегаса', и то, что он творил крестное знамение над жидким моссельпромским пивом и вобельным хвостиком, и то, что он ради мистического ряжения и

великой фальши, которую зовем мы искусством, одел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере. Есенин к Клюеву был ласков и льстив. Рассказывал о 'Россиянах', обмозговывал, как из 'старшого брата' вытесать подпорочку для своей 'диктатуры', как 'Миколаем' смирить Клычкова с Орешиним. А Клюев вздыхал:

— Вот, Сереженька, в лапки скоро обуюсь... последние щиблетишки, Сереженька, развалились!

Есенин заказал для Клюева шевровые сапоги. А вечером в 'Стойле Пегаса' допытывал: — Ну, как же насчет 'Россиян', Николай?

— А я кумекаю — ты, Сереженька, голова... тебе красный угол.

— Ты скажи им — Сереге-то Клычкову и Петру, что, мол, 'Есенина диктатура'.

— Скажу, Сереженька, скажу...

Сапоги делались целую неделю. Клюев корил Есенина: — Чего Изадору-то бросил.. хорошая баба... богатая... вот бы мне ее... плюшевую бы шляпу купил с ямкою и шюртук, Сереженька, из поповского сукна себе справил...

— Справим, Николай, справим! только бы вот 'Россияне'...

А когда шевровые сапоги были готовы, Клюев увязал их в котомочку и в ту же ночь, втихомолку, не простившись ни с кем, уехал из Москвы». ²⁹⁹

Сапоги сапогами, а поэзия поэзией... Мы видим, что оба ругали друг друга за стихи. И не пошел Микула в есенинских сапогах стать в недружные ряды перепившихся «Россиян». «Сереженька-то наш, Сереженька-то наш совсем спился, совсем спился — сокрушенно причитая, жаловался мне Клюев, — рассказывает Ив. Грузинов. — И уехал обратно в Петроград»³⁰⁰ А сам-то Сереженька в те же, примерно, времена, похвалялся Вольфу Эрлиху и клюевскими подарками, и клюевскими наставлениями: «— А знаешь, мне Клюев перстень подарил! Хороший перстень! Очень старинный! Царя Алексея Михайловича! — ...Он кладет руки на стол. Крупный медный перстень надет на большой палец правой руки. ...— Слушай! И слушай меня хорошо! Вот я например могу сказать про себя, что я — ученик Клюева. И это —

правда! Клюев — мой учитель. Клюев меня учил даже таким вещам: — Помни, Сереженька! Лучший размер лирического стихотворения — 24 строки». ³⁰¹

Очевидно, именно в ту же московскую поездку Клюев пытается связаться покрепче с некоторыми пролетарскими поэтами, с теми, что поталантливее, вроде В. Казина, В. Кириллова (с которым полемизировал в 1918-1919 гг.), Г. Санникова. Эти группа, отколовшаяся от Пролеткульта, образовала литературное объединение, назвав его «Кузницей». Еще до поездки в Москву к Есенину, Клюев приезжал в Москву, в начале 1923 года, и читал в «Кузнице» свой рассказ — из эпохи повстанческой крестьянской борьбы в Сибири — «Бугор». ³⁰² Рассказ опубликован не был, и рукопись его, очевидно, утрачена. Теперь, осенью, он опять бывает в «Кузнице», возможно, вместе с Есениным.

Вполне вероятно, что Клюеву нужно как-то обелить себя перед властями предержащими, создать себе хотя бы сколько-нибудь сносное политическое лицо — чтобы его выпустили за рубежи СССР. Такой хорошо осведомленный орган, как сменовеховская берлинская газета «Накануне» (главная редакция которой была в Москве...), сообщает в номере от 25 декабря 1925 г., что Клюев «собирается за границу». ³⁰³ Конечно, из этой поездки ничего не вышло...

Клюев обосновывается в Петербурге. Довольно близко сходится с замечательным русским философом — Сергеем Алексеевичем Алексеевым-Аскольдовым. Познакомился он с ним давно, еще на «башне» у Вячеслава Иванова. Много позже, уже в сороковых годах, Аскольдов рассказывал пишущему эти строки, как сильно озадачивал его и других Клюев, поправляя в разговоре цитаты Сергея Алексеевича из Баадера или Фихте-младшего... Клюев, по словам Аскольдова, и в литературе, и в философии чувствовал себя обжитым прочно, домовито, — знал, кажется, не только немецкий, но и английский, но, конечно, только для чтения, а произносил — и в стихах тоже! — «Я — олонецкий Лонгфелло», и писал французские разговорные фразы русскими литерами. Троцкий, неплохо понимавший, но не до конца уразумевший Клюева, писал о нем: «Клюев учился. Где и чему, не знаем, но распоряжался он знаниями, как начетчик и еще как скопидом. Крестьянин зажиточный, вывезя из города случайно телефонную трубку, укрепляет ее в красном углу,

неподалеку от божницы. Так и Клюев Индией, Конго, Монбланом украшает красные углы своих стихов, а украшать Клюев любит. Простая скобленая дуга у хозяина бывает только от бедности. У хорошего хозяина дуга с резьбою, расписная, в несколько красок. Клюев хороший стихотворный хозяин, наделенный избытком: у него везде резьба, киноварь, синель, позолота, коньки и более того: парча, атлас, серебро и всякие драгоценные камни». ³⁰⁴

Клюев, конечно, далеко не простой мужицкий «украшатель». Орнамент Клюева не самодовлеющ. Он — иногда недостаток, но никогда не является основным свойством поэта. Перегрузка поэтическими образами — от перегруженности стихов идейным содержанием. В этом смысле Клюева можно сравнить с поздним Вячеславом Ивановым «Зимних сонетов» и «Человека». И у Вячеслава Иванова, и у Клюева — апокалипсический строй мысли и ее воплощения. Отсюда — и сгущенная образность речи-притчи. А за нею — и Достоевский, и Н. Ф. Федоров, и поэзия христовщины, и всемирное звучание бродячих сюжетов сказки-былины-легенды... И огромная начитанность и в подспудной литературе скрытников и Поморского Согласия — и в европейской литературе и философии, в литературе апокрифов и Пролога — и современных модернистов...

В 1924 году, еще до смерти Ильича, поэт собирает свои старые стихи, посвященные Ленину, — и издает их отдельной книжкой «Ленин». Цензурное вмешательство, как уже говорилось выше, лишило некоторые стихотворения смысла, но зато книжка, после смерти Ильича, в первые же месяцы года, выходит и вторым, и третьим изданием. Художническое нутро Клюева идет наперекор даже его расчету, — и Клюев не переделывает своих «евразийских» строф, не облачает Ленина в привычные штампы официальных молитвословий. Книжку критика и власти предержавшие принимают в штыки. Г. Лелевич пишет разносную рецензию в «Печати и Революции», ³⁰⁵ пишет об «Окулаченном Ленине» и в своей книжке: «Клюев берет Октябрьскую революцию и пытается приспособить ее к своим кулацким чаяниям... Эта раскольничья рухлядь превращает стихи талантливого Клюева в разукрашенные куклы». ³⁰⁶ В феврале группа «продетарских» писателей-коммунистов, в открытом письме в

редакцию «Правды», прямо называет Ключева реакционером.³⁰⁷

Ключев живет теперь случайными подачками от союза поэтов, от литературного фонда (ему часто отказывают при этом), от старых друзей и знакомых. Печатают его настолько редко, что источником средств существования гонорары назвать нельзя. Много странствует, питается чем Бог послал, но долго отказывается продать иконы своего домашнего кивота. А иконы у него замечательные, дониконовские. То он у олончан, то в Ферапонтовом монастыре, то у Сергия на Троице в посаде, — он обходит всю древнюю, уходящую, родную ему Русь.

Как-то пишущий эти строки встретился с Ключевым около Спаса на Крови, на Екатерининском канале, названном «каналом писателя Грибоедова» («писателя» прибавили для понятности...). Ключев только-что вернулся из Кириллова и Ферапонтова монастырей:

— Хожу по Руси... И в Кирилловом был... И в Ферапонтовом побывал... А путь-то по каналу монастырскому как предивен! А башни монастырские! Отлетает Русь, отлетает, сынок... Отлетает... Вот и спешу походить-поездить — последнее материно благословение и последний вздох Руси принять. А ты? Неужли и фресок Дионисия еще не видал? Как же можно?»

Как любил Ключев эту древнюю, чистую, конструктивную, строгую «лепоту»! Глядя на бездомного певца-странника, непоседу, алчного ко всяческой красоте, — вспоминалось, что именно в России было возглашено, что красота спасет мир; это проповедовал Достоевский; об этом говорил Н. Ф. Федоров («Наша жизнь есть акт эстетического творчества»³⁰⁸); Константин Леонтьев считал красоту мерилom и принципом гораздо более универсальным, чем истина, мораль, религия. А наш русский Спас, в лепоту облекшийся! «Не железом, а красотой купится русская радость», — написал Ключев на своей книге, подаренной Панаиту Истрати...

Светел запечный притин —
Китеж Мамелф и Арин...

Ленинградская комната Ключева, его пристанище, когда он не в пути по Руси, была не то кельей старовера-начетчика,

не то горницей времен царя Алексея. Р. Менский довольно верно описывает ее: «Мы очутились в настоящей крестьянской избе (а жил Клюев в самом центре Ленинграда — ул. Герцена, бывшая Большая Морская, 25, БФ). В левом углу — треногая лохань. Над нею висел чугунный рукомошник. В другом углу стояла кровать под пологом. Третий угол занимала божница. В ней — ценнейшие образцы русской иконописи. Перед иконами висели три лампадки...»³⁰⁹

Крестный твой отец весь век
Обрастал иконами, —

пишет о Клюеве его крестнику, сыну поэта Клычкова, Егорушке Павел Васильев.³¹⁰

«Рассматривал негатив Клюева, снятый мною у него в комнате, — рассказывает М. М. Пришвин. — На негативе видна развернутая книга старинная, на ней рука, еще видна борода и намеком облик самого Клюева...»³¹¹ Так и представлялся Клюев — книга старописная, борода староверская, иконы дониконовские, цветные блики лампад на них...

Ночью 27 декабря 1925 года покончил самоубийством в ленинградской гостинице «Англетер» Есенин. Пути поэтов, кажись, разошлись давно. Несмотря на свой огромный успех и редкую популярность, Есенин хорошо сознавал, что не ровня он был Клюеву, как поэт, понимал — чем и в чем Клюев был выше его. Завидовал, ругался, пытался даже отшутиться:

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи, как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел,
И в клетке сдохла канарейка. (1924)³¹²

И все-таки — в каждый свой приезд в Ленинград — без своего старого пестуна не обходился: шел к нему, тащил его к себе, читал ему свои стихи, пытливо поглядывая на «старшого брата»: нравится ли?

О последней встрече Есенина с Клюевым, в самый день самоубийства Есенина, существует несколько рассказов.

Г. Устинов, сразу же после смерти «последнего поэта деревни», писал: «В шестом часу вечера он (Есенин, БФ) разбудил меня, сидел до рассвета, потом вместе с Эрлихом пошли разыскивать Н. Клюева. Клюева они нашли не сразу. Облазали несколько квартир. Встреча была обычной. Расцеловались. Есенин сел, рассматривая прищуренным взглядом убранство клюевского жилища. Очень много икон, перед иконами лампадка. Посидев, Есенин хотел прикурить от лампадки, но Клюев воспротивился так, что даже буйный Есенин не настаивал. А когда Клюев вышел умываться, Есенин погасил лампадку, сказав Эрлиху: — Ты ему не верь, он все притворяется! Посмотри, он и не заметит, что лампадка погашена. И, действительно, Клюев не заметил. Это очень веселило Есенина».³¹³ Более колоритно рассказывает об этом Вольф Эрлих: «Проснулись мы часов в шесть утра. Первое, что я услышал от него в этот день: — Слушай, поедем к Клюеву. — 'Поедем'. ...— Ты подумай только: ссоримся мы с Клюевым при встречах кажинный раз. Люди разные. А не видеть его я не могу. Как был он моим учителем, так и останется. Люблю я его. ...В девять поехали. ...Подняли Клюева с постели. Пока он одевался, Есенин взволнованно объяснял: — Понимаешь? Я его люблю! Это мой учитель. Ты подумай: учитель! Слово-то какое!» Далее следует тот же рассказ о лампадке, что и у Устинова. «...Мы втроем вернулись в гостиницу («Англетер», БФ). Вслед за нами пришел художник Мансуров (тогдашний постоянный спутник и тень Клюева, БФ). Есенин читал последние стихи. — Ты, Николай, мой учитель. Слушай. — Учитель слушал. Когда Есенин кончил читать, некоторое время молчали. Он потребовал, чтобы Клюев сказал, нравятся ли ему стихи. Умный Клюев долго колебался и наконец съязвил:

— Я думаю, Сереженька, что, если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России.

Ничего другого, по совести, он не мог и сказать. Есенин помрачнел. Ушел Клюев в четвертом часу. Обещал прийти вечером, но не пришел».³¹⁴

А потом Клюев рыдал у гроба своего Сереженьки, рыдал навзрыд, как плачет в северных деревнях. В сборнике памяти Есенина, выпущенном Союзом Поэтов в 1926-27 г., Клюев

причитает по своем «жавороночке» еще старыми, из «Львиного Хлеба», стихами — с их зловещим:

От оклеветанных Голгоф
Тропа к Иудиным осинам.

Но тогда же, сразу почти после смерти Есенина, задумывается и пишется Клюевым его «Плач о Сергее Есенине»³¹⁵ После неполной газетной публикации, поэма издается целиком в Ленинграде, издательством «Прибой», в 1927 году, вместе со статьей П. Медведева, в книге под названием «Сергей Есенин».

Помяни, чертушко, Есенина...
...Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка...

Не тот путь избрал покойный совенек, птаха любимая, не путь исповедничества и муки, а путь наименьшего сопротивления, путь приспособленчества или к властям предрержащим, или к новому сентиментальному советскому мещанству, которое именуется подлинной советской лирикой. Но не вынес поэт — сломалась и душа его — и сам он сломался, не выдюжил. Да и сам он, Клюев, не грешил ли — и не грешит ли подчас доньне? Правда, для барышень сентиментальных — хотя бы и комсомолочек — не писал никогда...

Умереть бы тебе, как Михайле Тверскому,
Опочить по-мужицки, до рук борода..

Но, конечно, «гробовая доска — всем грехам покрывка», но все-таки помнит Клюев, что помер любимый его

...за грехи, за измену зыбке,
Запечным богам Медосту и Власу...

И причитает Клюев, заливаясь плачем: «Овдовел я без тебя, как печь без помяльца...»

Подкосилась судьба хотя и изменщика, но «последнего поэта деревни» — и запазушного, такого когда-то близкого, уродненного:

Звал мою пазуху улусом татарским,
Зубы табунами, а бороду филином!

И баюкает покойного меньшого брата олонецкий Давид христовского корабля. Один-одинешенек остается Клюев. И ему «пора уже в дорогу»...

А в дорогу его, Клюева, торопят всяческие злобно-тупые улюлюкальщики из коммунистического стана, все его плачи, плачи поэта по убиваемой красе, сводящие к штампам марксистско-ленинской схоластики: «...когда революция ударила по кулачеству, Клюев завопил во весь голос. Таким воплем и осталась его поэзия до последних времен, поэзия запечной тоски по гибнущей жизни»...³¹⁶

Союз Поэтов устроил в начале 1926 года вечер памяти поэта. В Ленинграде на этом вечере выступил и Клюев. Ольга Форш рассказывает: «На поминальном вечере зал был полон и взволнован отвратительно. На зрителях — нездоровый налет садизма. Пришли не ради поэзии, а чтобы на даровщинку удобно, но в меру остро поволноваться, замирая от стихов, за которые не они заплатили жизнью... Настал черед и Миккулы. Он вышел с правом, властно, как поцелуйный брат, пестун и учитель. Поклонился публике земно — так дык в опере кланяется Годунову. Выпрямился и слегка вперед выдвинул лицо, с зашуренными на миг глазами. Лицо уже было оваяно собранной песенной силой. Вдруг Миккула распахнул веки и без ошибки, как разящую стрелу, пустил голос. Он разделил помин души на две части. В первой его встреча юноши-поэта, во второй — измена этого юноши пестуну и старшему брату, и себе самому. Голосом, уветливым до сладости, матерью, вышедшей за околицу встретить долгожданного сына, сказал он свое известное о том, как 'С рязанских полей коловратовых вдруг забрезжил конопляный свет'... ..Еще под обаянием этой песенной нежности были люди, как вдруг он шагнул ближе к рампе, подобрался, как тигр для прыжка, и зашипел язвительно, с таким древним, накопленным ядом, что сделалось жутко. Уже не было любящей, покрывающей слабости матери, отец-колдун пытал жестоко, как тот, в 'Страшной мести' Катеринину душу, за то, что не послушала его слов. Не послушала и вот —

...На том ли дворе, на большом рундуке,
Под заклятою черной матицей
Молодой детинушка себя сразил...

Никто не уловил перехода, когда он, сделав еще один мелкий шаг вперед, стал говорить уже не свои, а стихи того поэта ушедшего. Чтобы воочию представить уже подстерегавшую друга гибель, Микула говорил голосом надсадным, хриплым от хмеля:

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое...

Было до такой верности похоже на голос того, когда с глухим отчаянием, с пьяной икотой он кончил: 'Ты Рассея моя.. Рас...сея... Азиатская сторона'... С умеренным вождением у публики было кончено. Люди притихли, побледнев от настоящего испуга. Чудовищно было для чувств обывателя это нарушение уважения к смерти, к всеобщим эстетическим и этическим вкусам. Микула опять ударил земно поклон, рукой тронув паркет эстрады, и вышел торжественно в лекторскую. Его спросили: — Как могли вы... — И вдруг по глазам, поглубевшим как у Врубелевского Пана, увиделось, что он человеческого языка и чувств не знает вовсе и не поймет произведенного впечатления. Он действовал в каком-то одном ему внятном, собственном праве.

— По-мя-нуть захотелось, — сказал он по-бабьи, с растяжкой. — Я ведь плачу о нем. Почто не слушал меня? Жил бы! И ведь знал я, что так-то он кончит. В последний раз виделись, знал — это прощальный час. Смотрю, чернота уж всего облепила..

— Зачем же вы оставили его одного? Тут-то вам и не отходить.

— Много раньше увещевал, — неохотно пояснил он. — Да разве он слушался? Ругался. А уж если весь черный, так мудрому отойти. Не то на меня самого чернота его перекинуться может! Когда суд над человеком совершается, в него метаться нельзя. Я домой пошел. Не спал, ведь, — плакал».³¹⁷

Давно уже не выходило никаких книг Клюева. Не печатали почти его в эти годы в журналах. А если стихи поэта и попадали в антологии, то снабжались соответствующими комментариями. Так, в большой антологии Ежова и Шамурина, во вступительной статье Валериана Полянского, поэт

охарактеризован, как певец «крепкого хозяина», кулака,³¹⁸ а в другой вступительной статье, И. С. Ежова, поэтическое мировоззрение Клюева сравнивается со «взглядами славянофилов об исконных началах русской жизни и о гнилом Западе. 'Железный край' современной техники, конечно, смертоносен для 'запечного' рая Клюева, о чем он очень сожалеет. ...Понятно, что многое в современной деревне ему не нравится, хотя свое недовольство он умеет искусно скрыть за вязью слов».³¹⁹ Смысл всего этого ясен: Клюев — скрытый классовый враг, как об этом давно уже кричат всяческие околотитературные молодчики с партбилетом и без оного. Но Клюева пока не арестовывают. Коммунисты хотят в последний — перед разгромом — раз обмануть крестьянство, выжать из него последние соки. В резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» сказано: «Крестьянские писатели должны встречать дружественный прием и пользоваться нашей безусловной поддержкой. Задача состоит в том, чтобы переводить их растущие кадры на рельсы пролетарской идеологии, отнюдь, однако, не вытравляя из их творчества крестьянских литературных образов, которые и являются необходимой предпосылкой для влияния на крестьянство... ..Нужно ...вырабатывать соответствующую форму, понятную миллионам».³²⁰ Одним словом, крестьянские аксессуары, мужицкая личина и коммунистическое нутро. Не трогают — до поры — ни Клычкова, ни Пимена Карпова, ни Орешина, ни даже Клюева. Авань, призадумаются — и «примкнут».

Но Клюев не «примыкает»: он даже перепечатывает — из почти исчезнувшего из оборота и полузапрещенного «Львиного Хлеба» — наиболее яркие и «программные» свои стихотворения: в 1924 году, в первом номере недолговечного (его прихлопнули на четвертом номере) журнала «Русский Современник» — три стихотворения, сомкнутые в цикл под знаменательным названием: «Песни на крови»:

Псалтырь царя Алексея,
На страницах убрусы, кутья,
Неприкаянная Россия
По уставам бродит кряхтя.
Изодрана душегрейка,

Опальный треплется плат...
...Зачураться бы от наслышки
Про железный неугомон...

Третий Рим Иванов Третьего и Грозного и Петра раскололся в Октябре. Раскололся и весь мир, хотя осознает это мир много позже, — и терновый венец Искупителя — на лике страждущего яро мира. А Искупитель с укором глядит на отрехшихся от него...

Но в ночи кукарекнет петел,
Как назад две тысячи лет. ...
Римский век багряно-булатный
Гладиаторский множит крик...

.

«Имя бо Антихриста 666 (Апокалипсис). Он был на 1000 лет связан (гл. XX, 2); потом развязан, и сие власть Римскую являет, возвратися бо на первое свое возлюбленное место и нача отступление папезено, егда исполнися 1555 лет бысть отступление Унитов к папе, иже предтеча Антихристу наречеса, а по исполнении 1666 лет наста день Христов, день брани с диаволом; при Антихристе бо с самим сатанною братися имут, иже и воцарися по Ефрему, во всем мире...» — так рекут пророки и святители в Цветнике основателя секты странников-бегунов Евфимия.³²¹

И не слышна слеза Петрова —
Огневая моя слеза...
Осыпается Бога-Слова
Живоносная бирюза...

В четвертой книге альманаха «Ковш», в 1926 г., Клюев перепечатывает — из того же «Львиного Хлеба» два стихотворения. По поводу одного из них — «Железо» — на Клюева ополчаются все пролетарские, комсомольские, напостовские силы. И даже много позже — для характеристики «кулацкой» литературы — О. Бескин, например, берет именно это стихотворение: «У Клюева стихотворение 'Железо' — символический приговор современности, стонущей от 'железной пяты безголовых владык'». ³²²

Замечательнейшие вещи Клюева печатают в эти годы ленинградское и московское отделения Всероссийского Союза Поэтов, союза, который очень скоро будет закрыт, как «последнее пристанище буржуазного эстетства». В сборнике «Поэты наших дней» (Москва, 1924) публикуется стихотворение «Портретом ли сказать любовь», тоже из «Львиного хлеба». В «Собрании Стихотворений» (Ленинград, 1926) — чудом проскочившее через цензуру, одно из высочайших творений Клюева:

Наша собачка у ворот отлаяла,
Замело пургою башмачок Светланы,
А давно ли нянюшка ворожила баяла
Поваренкой вычерпать поморья-океаны...
...Налетела на хоромы преукрашены
Птица мертвая — поганый вран...
...Люди обезлюдены, звери обеззверены...

Наконец, в сборнике «Костер» (Ленинград, начало 1927) появилась маленькая поэма «Заозерье», яркий гимн жизни, плоти, любви. Герой поэмы — «отец Алексей из Заозерья — берестяный светлый поп» — отнюдь не истовый православный священник и не начетчик Поморского Соглашения, хотя — вместе с «богами» сельской Руси — «Федосьей-колосовицей и Медостом — богом овечьим» — и велит «двуперстьем креститься детенышам человечьим». Скорее Алексей — Пан и Дионис одновременно, может быть, древнеславянский Велес, он служит лесную и полевою обедню,

Чтоб у баб рожались ребята
Пузатей и крепче реп,
И на грудях ржаного злата
Трепака отплясывал цеп. ...
...А уж бабы на Заозерья, —
Крутозады, титьки как пни...
...В Заозерья свадьбы на диво, —
За невестой песен суслон...
Христос Воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ!..

«Заозерье» — редкое у Клюева произведение: никакого трагизма, никакого надлома — солнечный гимн земле и радостям земли. Даже без той лирической дымки, которая окутывает «Мать-Субботу». Да, но все эти публикации — в сборниках выходявших ничтожными тиражами — от 500 до 1.000 экземпляров...

В 1927 году, в первом номере ленинградского журнала «Звезда», появилась знаменитая поэма Клюева — «Деревня». Как ее пропустила цензура — одному Богу известно. Но она появилась. На следующий день в «Вечерней Красной Газете» громили поэта за контрреволюционное кулацкое выступление, редакцию журнала «обновили», о поэте завели дело в ГПУ. Испуганный журнал попытался как-то отыгаться: спешно заказал Клюеву агитационно-плакатный бодрячок о пионерии и комсомолки: «Мой красный галстук так хорош...». В пятой книге журнала и появилась эта «Юность» — жалчайшая попытка поэта приспособиться, редакции журнала — оправдаться... Но спасти положения это уже не могло. Последние публикации поэта — приспособленческие, технически достойные какого-нибудь Исаковского, — не могли надолго отдалить гибель. Смерть — тень косы — уже ложится на жизнь поэта...

Клюева всячески клеймят, его имя склоняется всегда, когда говорят о контрреволюционных писателях, о кулаках, о врагах советского народа. Назовем только немногие статьи и книги, где говорится о Клюеве и «клюевщине»: А. Безыменский — «О чем они плачут?» («Комсомольская правда», 5 апреля 1927); Л. Авербах — «С кем и почему мы боремся» (изд. «На Литературном Посту», 1930); О. Бескин — «Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика» (изд. Комакадемии, 1930). Характерна в этом отношении и передовая статья в «Литературной Газете» — 29 ноября 1930: «Будем беспощадны к литературным агентам капитализма»: «Классовый враг пытается укрепиться и на фронте литературы... Кулацкие выступления Клычкова и Клюева... попытки враждебных элементов укрепиться в крестьянской литературе...» и т. д. И так — до самой смерти Клюева. Нет, и после смерти его не оставили в покое — он и сейчас — один из классовых непримиримых врагов. А. В. Кулинич, например, говорит, что «хотя в поэме 'Деревня' (1927) Клюев рассказывает о 'железной нови' на селе, о том,

как «стальногрудый витязь» трактор распахал межи, сердцем он остается на стороне старой деревни. С появлением трактора «утопиться в окунной гати бежали березки в ряд», «ласточка по сараям разбила гнезда в куски» и т. д. Поэма завершается типично клюевской хвалой старому...» Даже «деревенские пейзажи ... Клюева отмечены чертами консервативности».³²³

Характерно, что Николай Брыкин, когда ему нужно было обрисовать образ контрреволюционера и саботажника, бывшего белого полковника-дроздовца, а затем счетовода станичного кооператива на Кубани, подбивавшего колхозников и казаков на уничтожение тракторов, затем же покончившего с собой, — этот Николай Брыкин начал свой роман «Стальной Мамай» цитатой из неопубликованной поэмы Клюева «Погорельщина»:

По горбылям железных вод
Горыныч с Запада ползет.

Роман написан в форме дневника счетовода — вот этого самого бывшего полковника-дроздовца Ладоги, и для характеристики этого вредителя использована именно «Деревня» Клюева: «Просматриваю ежемесечник. И стараюсь внушить себе, что у меня в руках находится не большевистский журнал, а изъеденное временем, закопченное в пороховом дыму, не раз простреленное старое полковое знамя. Стихотворение во многих местах отмечено карандашом. .. Три трактора мужик смел бородой. А разве это не истинно-русское дело? Разве это не объявление войны большевизму? Но к черту комментарии, сейчас они неуместны. Стихи сами говорят за себя. При чтении их жизнь приобретает совершенно иную окраску. Когда ты натыкаешься на родник, когда жажда расслабляет твоё тело, дух — тогда совершенно лишними бывают рассуждения. Нужно припасть к ключу и, не теряя ни капли, жадно, полными глотками пить драгоценную влагу, пить — пока не выпили её за тебя другие». Николай Брыкин цитирует затем большой кусок «Деревни», начиная со строки: «На деревню привезен трактор» и кончая:

Видно, к хлебушку с новым раем
Посошку пути не легки!

«Я отодвинул журнал. Стихи подобны крепкому вину. Многого хотелось сказать и в то же время ни о чем не хотелось говорить. Устами поэта говорит Россия. Русская Россия».³²⁴

Все здесь замечательно: и то, что любовь к поэме Клюева использована, как лучшая характеристика ненависти к большевизму, и достаточно верная характеристика настроений. Да ведь и не в уничтожении тракторов было дело. *Боролись против коллективизации*. Умирили во имя свободы, шли на Голгофу безнадежных бунтов и пассивного сопротивления. Умирили целыми селами, шли на верную смерть целыми станицами. Массовая кровавая коллективизация — «сплошная» — началась года через три-четыре, но Клюев уже напорочил:

Ты, Рассея, Рассея теща,
Насолила ты лихо во щи,
Намаслила кровушкой кашу —
Насытишь утробу нашу.
Мы сыты, мать, до печенок...

Но — не пропадет вконец Россия: слишком сильна в ней мужицкая нестигаемая, пусть даже долго таящаяся сила:

Будет, будет русское дело, —
Объявится Иван Третий
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметет мужик бородою!

Примерно в то же время (уж не за «Деревню» ли?) Клюев попадает в ГПУ. Провел он в знаменитом ленинградском ДПЗ (Доме предварительного заключения), на улице Воинова, бывшей Шпалерной, всего три дня, но зато в знаменитой камере пыток с резиново-пробковыми стенами. В своей — вышедшей посмертно — книге «Тюрьмы и ссылки» Иванов-Разумник рассказывает: «...Николай Клюев попал на три дня в 'пробковую комнату' петербургского ГПУ и потом с ужасом рассказывал о своем там пребывании».³²⁵

Как было сказано выше, в 1927 году появляется и отдельное издание «Плача о Есенине». Рецензии и отзывы бы-

ли самые доносительские: «'Деревня' и 'Плач по Есенине', — писал нынешний член-корреспондент Академии Наук СССР Л. Тимофеев, — совершенно откровенные антисоветские декларации озверелого кулака. Клюев открыто проклинает революцию за разоблачение мощей и т. д. и предрекает что «мужик сметет бородою» новое татарское иго... Революция разрушает старый уклад и поэтому яростно разоблачается». ³²⁶

И все-таки, благодаря ли стараниям немногих друзей и почитателей Клюева, или просто благодаря счастливому случаю, в 1928 году появляется еще одна — в СССР уже последняя — книжка стихов Клюева. Это — «Имба и Поле», избранные стихотворения поэта, выпущенные ленинградским издательством «Прибой». Избяная, кондовая, исконная и поддонная Русь, русская Россия звучит в этих старых стихах, умело выбранных, с небывало-новой силой.

Рецензий немного. Но издевательств очень много. «Отлетает Русь, отлетает», шепчут бескровные губы поэта-странника. А в ответ площадная советская пресса пишет примерно, так: «'Только на пятачок. Две недели смеха. Что делает жена, когда мужа дома нет. 120 веселых анекдотов Николая Клюева!' — Так рекламируют свой товар книжные торговцы». ³²⁷

«Знак истинной поэзии — бирюза. Чем старше она, тем глубже ее зелено-голубые омуты», — пишет поэт в предисловии к своему последнему сборнику. Умирает культурная традиция — умирает бирюза, умирает жизнь, умирает нация...

— Отлетает Русь, отлетает...

Клюев теперь вовсе изгоняется из литературы. Если и появляются незначай два-три его стихотворения, то они либо на «колхозную» тему, написаны на заказ, написаны буквально левой ногой, либо — еще того пуще — воспевают заводы и пролетарский город... И, конечно, получается из рук вон плохо. Но и эти подачки перепадают редко. Клюев официально объявлен идеологом класса, подлежащего слому, — кулачества. В сущности, из-за него, отчасти из-за его спутников — Сергея Клычкова, Петра Орешина, Пимена Карпова и некоторых других, — разгоняют Союз Крестьянских Писателей, основывают вместо него ВОКП — Всесоюз-

ное объединение крестьянских писателей, — принимающих на расширенном пленуме Центрального совета, 15-17 мая 1928 года, следующую платформу: «1)... Не всякий писатель, пишущий о крестьянстве, является *подлинно* крестьянским писателем. 2) Крестьянскими нужно считать таких писателей, которые на основе пролетарской идеологии, но при помощи свойственных им крестьянских образов в своих художественных произведениях организуют чувство и сознание трудовых слоев крестьянства и всех трудящихся в сторону борьбы с мелко-буржуазной ограниченностью — за коллективизацию хозяйства, быта и психики, в сторону строительства социализма, и — в конечном счете — в сторону бесклассового общества. 3) Крестьянские писатели, таким образом, ничего общего не имеют с писателями, выражающими в своих художественных произведениях идеологию и чаяния эксплуататорской части современной деревни — кулачества. А также — крестьянские писатели считают пережитком прошлого творчество тех писателей, которые при диктатуре пролетариата, в эпоху строительства социализма, в обстановке все усложняющейся борьбы в деревне, продолжают по традиции пережевывать дореволюционные народнические мотивы, пассивно воспринимать и отображать природу, идеализировать патриархальную жизнь и старые деревенские порядки: религию, собственность, национализм. Отличительной чертой крестьянских писателей в области творчества является активно-трудовое восприятие и отображение природы и жизни во всей ее сложности и многообразии».³²⁸

Вся эта длинная и нудная галиматья была направлена, главным образом, против Клюева. А. П. Чапыгин ушел в исторические романы, Пимен Карпов замолчал окончательно в самом начале 1920-х годов, Орешин пытался воспевать Веру Засулич и гордость революции — матросов.

Клюеву остается теперь только писать для себя — и про себя. Благодаря изысканиям и работе английского ученого, Гордона Мак-Вэя, мы имеем теперь возможность познакомиться с теми неизданными вещами поэта, которые уцелели, не погибли в трагические последние годы жизни Клюева. Среди этих стихов такие — одновременно с «Деревней» созданные, — как «От иконы Бориса и Глеба»:

...Неспроста у рябки яичко
Просквозило кровавым белком...
Громыхает чумазый отмычкой
Над узорчатым тульским замком.
Неподатлива чарая скрыня,
В ней златница — России душа...

Остались в этом архиве неизданного Клюева и непринятые редакциями «стихи на социальный заказ», исключительно слабые, ибо не мог Клюев писать их сколько-либо от души: воротило его, его душу от них:

Рогатых хозяев жизни
Хрипом ночных ветров
Приказано златоризней
Одеть в жемчуга стихов.
Ну, что же? — не будет голым
Тот, кого проклял Бог...

Ведь Клюев — Клюев и есть:

Кто за что, а я за двоперстие,
За байку над липовой зыбкой, —
говорит он, и чурается «социального заказа»:

Не буду петь кооперацию,
Ситец, да гвоздей немного...

Чтобы как-то заработать — хотя бы на скудный хлеб — поэт изредка читает свои вещи на домашних собраниях у друзей и знакомых. Такие собрания устраиваются — тайком, разумеется, — не только в Ленинграде и Москве. Есть сведения, что Клюев бывал и в других городах. Поэт Иван Елагин рассказывает, что в 1928 г. Клюев посетил в Саратове высланного туда литератора, поэта и журналиста, отца Елагина — Венедикта Николаевича Матвеева, писавшего под псевдонимом «Март». В. Март устроил литературное выступление Клюева в одном частном доме. Клюев читал, пел раскольничьи песни, песни свадебные, обрядовые, радельные. Как свидетельствует Иванов-Разумник, единственным источником существования Николая Алексеевича стало теперь именно это чтение произведений, главным образом новых, — на дому у знакомых. « К сожалению, — пишет Иванов-

Разумник, — нельзя было ручаться за 'знакомых знакомых', перед которыми приходилось читать новые свои произведения. 'Раскулаченный' в своей вытегорской деревне, он поселился в Петербурге, читал свои произведения у друзей и знакомых, которые делали среди присутствовавших сборы и вручали гонорар за чтение задушенному цензурой поэту. Кто слышал эти чтения, тот никогда их не забудет». ³²⁹

В эти годы — со второй половины двадцатых годов — по свидетельству ряда лиц (Р. В. Иванов-Разумник, Глеб Глинка, писатель А. Н-в и др.) — Клюев на этих потайных домашних вечерах читал преимущественно «Погорельщину», замечательную поэму о затравленной и убиенной Руси наших дней. Поэма ходила в списках по рукам, выучивалась наизусть. Ходит она в списках по рукам и сейчас, как об этом рассказывает в своих воспоминаниях кн. Зинаида Шаховская.³³⁰ Опубликована в печати «Погорельщина», пишущим эти строки, в собрании сочинений поэта, изданном в 1954 г. Чеховским издательством в Нью-Йорке. Список поэмы был передан Клюевым в 1929 г. известному итальянскому слависту и литератору, проф. Этторе Ло Гатто (вместе с машинописями «Заозерья» и «Деревни»), а Этторе Ло Гатто любезно предоставил мне право ее опубликовать. Так большой друг русской литературы, итальянский ученый, возвратил России самую крупную и значительную поэму руссешего из русских поэтов. Он вернул нам великий эпос послебурья, считавшийся потерянным, сохранившимся лишь в искаженных, несовершенных списках.

Иногда устраивались даже полуофициальные чтения Клюевым его произведений. Об одном таком вечере рассказывает участник этого собрания, литератор Р. Менский: «В начале 1930 года, группа крестьянских писателей задумала устроить вечер, посвященный поэзии Н. А. Клюева. Всем хотелось услышать его новую поэму 'Погорельщина'. Знали, что она к печати никогда не будет допущена большевиками. Предприятие было рискованное. Легальное проведение вечера требовало страховки в форме критического доклада. Доклад поручили сделать критику Г. Р. Вечер состоялся на Стремянной улице № 10, в Доме деревенского театра*). Большой зал был полон народа. Присутствовали поэты, писатели,

*) В Ленинграде.

студенты, педагоги. Чтобы не обижать поэта, перед началом доклада его увели в отдельную комнату и стали угощать чаем. Н. А. пил чай, а критик его 'критиковал: поэзия Н. А. несозвучна политической современности; при всей яркости ее образов и глубине чувств, она несет на себе печать старобрядческого духа; говоря о новом в образах прошлого, она мешает нормальному восприятию нового; говоря о деревне, она противопоставляет ее городу. ...Когда кончился доклад, Николая Алексеевича привели в зал. Присутствующие встретили его аплодисментами. Не снимая поддевки, поэт сел у стола и стал читать 'Погорельщину'. Зазвучал, окаяющий полонецки, его былинный сказ. В воображении, как в театре, пошел вверх занавес, раскрывая перед слушателями народный мир, в его полном убранстве. Начинаясь этот мир где-то далеко за историческим рубежом. Неустанно развиваясь в себе, он приводил нас к настоящему. В 'Погорельщине', в образе Настеньки-пряхи, Русь тянет с 'кудельной бороды' непрерывную нить народной жизни. Короткие словесные мазки поэта окружают Настеньку нимбом благословенного труда, памятью о народных походах и битвах, сказкой и горестной былью. Ломается прялка под гибельной новью, рвется нить, умирает Настенька. Сгорает духовный дом народа — 'Погорельщина'. Поэма вызвала у слушателей восторг, смятение перед 'новью' и тяжелую тоску по 'Настеньке'. 'Маята как змея одолела' ...После 'Погорельщины' Н. А. читал 'Деревню'... ..За 'Деревней' следовал 'Плач о Есенине' ...Это действительно плач. Огромная скорбь вложена в эту поэму по погибшем 'побратиме'... ..А потом о себе:

Падает снег на дорогу,
Белый ромашковый цвет.
Может, дойду понемногу
К окнам, где ласковый свет...

Но в советских окнах для народного поэта не было ласкового света. Когда кончился вечер, Николаю Алексеевичу долго аплодировали, искренне, с любовью. Расходились с грустью, понимая его правду и предвидя предстоящую за нее гибель. ...

В 1932 году партия решила покончить с полусоветскими литературными объединениями — попутчиков, крестьянских

писателей. 'Социалистический реализм' был объявлен единственно законным направлением». ³³¹

Шли страшные годы сплошной коллективизации и «раскулачивания». Даже такая лживая книга, как «История Коммунистической партии Советского Союза», рисует — сама того не замечая — трагическую картину народного погрома. Вот несколько сухих выдержек: «5 января 1930 г. ЦК ВКП (б) принял историческое постановление 'О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству'. ...Сплошная коллективизация означала переход всех земель в районе села или деревни в распоряжение колхоза. Кулацкие участки, находившиеся на этой земле, переходили к колхозам... ...Советская власть сняла запрет с раскулачивания. Советской власти в районах сплошной коллективизации предоставлялось право выселять наиболее злостных кулаков в районы, отдаленные от их постоянного жительства, с конфискацией у них всех средств производства (скота, машин и другого инвентаря) и передачей их в собственность колхозам. Кулаки подвергались полной экспроприации. Эти меры по отношению к кулакам были единственно правильными». ...Далее «История партии» говорит о некоторых «искривлениях» партийной линии в отношении коллективизации: «Добровольность вступления в колхозы заменялась принуждением под страхом 'раскулачивания', лишения избирательных прав и т. д. В некоторых районах процент 'раскулаченных' доходил до 15, лишенных избирательных прав — до 15-20...» А так как сама «История партии» насчитала «свыше одного миллиона кулацких хозяйств» в эти годы, ³³² то, считая по 5 человек в среднем на крепкое крестьянское хозяйство, выселено было в мало населенные области Севера и Сибири до 5-5,5 миллионов человек. Отбирали при этом все. Даже одежды оставляли «кулакам» самую малость — по одной смене на человека, и то — худшей. Гнали под конвоем чекистов стариков и женщин, детей, без еды, без теплых вещей. На месте их не ожидали даже землянки — их просто выгружали в дикой тайге, предоставляя самим заботиться о постройке жилища и нахождении пропитания — безо всяких средств, инструментов, материалов. «Раскулачивали» без разбора и понимания. Часто признаком «кулачества» были «кровати с никелированными шпиками». Если бедняк или середняк не шел добровольно в колхоз, его объявляли «подкулач-

ником» — и тоже выслали. Расстрелы, часто без суда и следствия, узаконенное ограбление, насилия, доносы, сведение личных счетов — и, в результате всего этого — голод, унесший миллионы жизней: и не только голод: людоедство:

Тоскуют печи по ковригам
И шарит оторопь по ригам
Шепоть кормилицы-мучицы...
..И синеглазого Васятку
Напередки посолили в кадку...

(Погорельщина)

«До отъезда в Москву (1932 или 1933) Н. А. жил на улице Герцена..., № 25. ...С большой скорбью Н. А. жаловался нам на свою тяжелую нужду. Она заставила его отнести и продать музею уже не одну икону. Перед иконами висели три лампадки. Стол был накрыт деревенской скатертью. На столе стояли простые старинные подсвечники. Электричеством — этим 'огнем в пупыре', он не пользовался. На маленьком столике у стены лежали толстые, рукописные старообразческие книги в кожаных переплетах. Н. А. подвел нас к книгам и ласково проговорил: 'Это мои университеты'. Разговор о поэзии у нас не клеился. Время было тревожное — развертывалась во всю коллективизация. Судьба народа глубоко волновала Н. А. Он понимал, что большевики собираются закрыть открытый им мир народа, а с ним и его поэтический 'монастырь'. Еще в самый расцвет НЭП'а он отчетливо угадывал будущее. ...В наступлении большевиков на деревню ему чудилось опустошение крестьянской души, катастрофический распад народного духа. 'По горбылям железных вод Горыныч с Запада ползет'. Горыныч выбросит иконы из красного угла, разгонит 'запечных богов', убьет сказания, поверья, песни, сказки, всё, что было скоплено народом в тысячелетиях. ...Когда мы уходили, Н. А. почти шёпотом несколько раз сказал: 'Будет гарь... Ох, будет гарь'... Насильственная коллективизация у него ассоциировалась с насильственным никонианством. Вскоре после этого, когда крик о коллективизации в прессе и журналах стал истошным, Н. А. принес в редакцию журнала 'Звезда' стихи... 'Кто о чем, а я о двопер-

стии...»³³³ Стихи, конечно, напечатаны не были... Так рассказывает Р. Менский о своем посещении Клюева.

В 1929 и 1931 гг. Клюев встречается с приехавшим в СССР — в научную командировку (как сказали бы в Советском Союзе) — крупным итальянским славистом, литератором, переводчиком, проф. Этторе Ло Гатто. Привел Клюева в итальянское консульство в Ленинграде, где остановился проф. Ло Гатто, земляк поэта — известный прозаик Алексей Павлович Чапыгин. «Должен сказать, что, когда Чапыгин познакомил меня с Клюевым, последний увидел во мне не столько историка русской литературы..., сколько просто итальянца, — рассказывает в своих интересных «Воспоминаниях о Клюеве» проф. Э. Ло Гатто: — ...Встретившись со мной, итальянцем, и услышав из моих уст выражение южной тоски по Северной России, он, не колеблясь, назвав меня 'светлым братом', задумал послать привет Риму: выраженный в посвящении новому знакомцу, он будет передан его песнями собору Св. Петра и Колизею...*) ..Надо прибавить, что как раз с первыми моими воспоминаниями о Клюеве связывается память о поездке в Новгород Великий, в Ростов Великий и во Владимир — эти колыбели русской истории, и о трепетном посещении старинных монастырей, которые уже тогда пустовали, но которые поэт, обращаясь к прошлому, населил в моем воображении странной и таинственной жизнью. ...Если бы не влияние Клюева и его поэзии, я бы вероятно не только не пустился бы на поиски старинных монастырей, ...но и не дал бы того ответа, который я дал главе Бюро печати при советском Наркоминделе, упрекавшему меня за то, что гигантским новым заводам первой пятилетки я предпочел старинные церкви и опустевшие монастыри: ...такие же заводы и фабрики я могу видеть в любой другой стране, тогда как старую Россию можно найти только в России, и то пока она не исчезла бесследно». Поэт подарил проф. Этторе Ло Гатто «Песнослов» — с замечательным посвящением, — передал, как уже сказано выше, ему три свои поэмы в машинописи: в том числе «Погорельщину», — с тем, чтобы Ло Гатто опубликовал их после смерти Клюева. И образ поэта навеки связался у талантливого итальянского историка русской лите-

*) Это замечательное посвящение нами публикуется, как второй «эпиграф» к первому тому. — Ред.

ратуры не с «русской рубашкой, которая производила странное впечатление в сочетании с надетым поверх ее обыкновенным городским пиджаком и брюками, заправленными в сапоги с голенищами»... Нет, у Ло Гатто «образ Клюева, принимая конкретные очертания, связывается с его стасью к собиранию икон. Как сейчас вижу его в его бедной комнатухе в Ленинграде, где он рисковал принимать меня, склонившимся над ящиком, полным икон, чтобы выбрать одну мне в подарок. И он действительно подарил мне, вместе со своими песнями, икону, чтобы моя память и моя печаль о нем были еще более пронизаны их музыкой».³³⁴

«Николая Алексеевича, — рассказывает Р. Менский, хорошо знавший Клюева и встречавшийся с ним и в сибирской ссылке, — видимо, думали подкупить. Ему предложили переехать в Москву и даже назначили пенсию».³³⁵ Переехал Клюев в Москву в 1932 или 1933 году. Но Клюев не унялся. Он не мог простить режиму ни гибели крестьянства, ни погрома и гибели русской культуры, ни тех десяти лет вынужденного молчания, которые тяжким бременем легли на его, Клюева, плечи. К 1932-1933 гг. относится и ряд его гневных стихотворений, в которых он совсем отрекается от революции:

Мне революция не мать...

Большевизм лишил русский народ творческой свободы, подрезал сухожилия Пегасу поэзии, убил сам дух поэтической культуры:

Я гневаюсь на вас и горестно браню,
Что десять лет певучему коню,
Узда алмазная, из золота копыта,
Попона же созвучьями расшита,
Вы не дали и пригоршни овса
И не пускали в луг, где пьяная роса
Свежила б лебедю надломленные крылья.
Ни волчья пасть, ни дыба, ни копылья
Не знали пытки вероломней.
Пегасу русскому в каменоломне
Нетопыри вплетались в гриву
И пили кровь, как суховеи ниву,
Чтоб не цвела она золототканно
Утехой брачною республике желанной...

Эти стихи наизусть знал Мандельштам, из них же взяла Ахматова эпиграф для одной части своей «Поэмы без героя»: «Осип читал мне на память отрывки из стихотворения Н. Клюева 'Хулители Искусства' — причину гибели несчастного Николая Алексеевича. Я своими глазами видела у Варвары Клычковой заявление Клюева (из лагеря о помиловании):

«Я, осужденный за мое стихотворение 'Хулители Искусства' и за безумные строки моих черновиков».

Оттуда я взяла два стиха как эпиграф — 'Решка', а когда я что-то неодобрительно говорила о Есенине — Осип возражал, что можно простить Есенину что угодно за строчку: 'Не расстреливал несчастных по темницам'». ³³⁶

Но не только эти стихи ставились в вину Клюеву. Ему не могли простить «Деревню», «Плач о Есенине», многие «безумные строки его черновиков», ставшие теперь, хотя бы в сохранившейся их части, доступными читателю благодаря трудам английского ученого Г. Мак-Вэя. И, конечно, Советы не могли простить Клюеву его «Погорельщину». Слухи о «Погорельщине», о нелегальных литературных собраниях распространяются слишком широко; скрывать от ГПУ-НКВД эти чтения, эти немалочисленные списки поэмы, переходящие из рук в руки, развозимые друзьями по всей России, — становится почти невозможным. Популярность Клюева, особенно в литературных кругах, все же настолько велика, что ленинградский журнал «Звезда» осмеливается объявить его своим сотрудником в 1933 году. ³³⁷ Но никакое «сотрудничество», однако, состояться не могло... Уже было слишком поздно. Из стихов, посвященных художнику Анатолию Яр-Кравченко, последней привязанности поэта, видно, что в 1932, примерно, году Клюев провел лето на Вятке и в самой Вятке. Стихи, написанные там — и публикуемые только теперь, в нашем собрании, — одни из лучших стихов в наследии поэта.

В 1933 году поэта арестовывают по обвинению в «кулацкой агитации» — в распространении антисоветских поэм «Погорельщина», «Хулители Искусства», других контрреволюционных стихов. Продержав поэта положенное число недель или месяцев на Лубянке и в других узилищах Первопрестольной, его отправили в ссылку в Нарымский край, в село Колпашево. ³³⁸ «Там он жил в самых ужасных условиях (знаю об этом по его письмам), но продолжал заканчивать поэму 'Песнь о Великой Матери' и писал такие стихи, выше

которых еще никогда не поднимался, — рассказывает Иванов-Разумник. — В середине 1934 года он обратился с мольбой о помощи к Максиму Горькому,³³⁹ который был тогда на вершине силы и славы...; Горький 'протянул руку помощи' — и Клюева перевели в Томск (в 1935 г., БФ³⁴⁰), но вскоре арестовали в Томске. Так, сперва задушенный цензурой, погибал в сибирской ссылке один из самых больших наших поэтов XX века».³⁴¹

«Нам не известно, что делал и что писал Н.А. в Томске, — рассказывает встретивший Клюева в ссылке, в с. Колпашеве, Р. Менский. — В Колпашеве он писал мало — был, тяжелая нужда убивали всякую возможность работы. Кроме того, у ссыльных несколько раз в году производились обыски. Отбирали книги, письма и тем более рукописи. Запись откровенных мыслей была исключена. В Колпашеве Н. А. была начата поэма — 'Нарым'. Пока это были композиционно не слаженные, отдельные строфы. Записаны они были на разных клочках бумаги (от желтых кульков, на оберточной бумаге). Видимо, поэму он записывал только на время, пока не выучит наизусть, а затем уничтожал записи. Написанное он читал некоторым ссыльным. Талант его не угасал, хотя поэт и чувствовал себя морально подавленным».³⁴²

По словам Иванова-Разумника, ссылка, аресты и допросы сломили Клюева: он совсем пал духом и попробовал «перековаться»: «В 1935 году он написал большую поэму 'Кремль', посвященную прославлению Сталина, Молотова, Ворошилова и прочих вождей; поэма заканчивалась воплем:

Прости, иль умереть вели!

Не знаю, дошла ли поэма 'Кремль' до властителей Кремля, но это приспособленчество не помогло Клюеву: он оставался в ссылке до конца срока, до августа 1937 года.. ...Отбыв срок ссылки, он получил разрешение выехать в Москву, где должны были определить его дальнейшую участь; в августе 1937 года он выехал из Томска — как он сам писал —

с чемоданом рукописей.

По дороге, в вагоне, он скончался от сердечного приступа и похоронен на одной из станций Сибирской магистрали;

но какой? — друзья не могли дознаться до все того же 1941 года... Чемодан с рукописями пропал бесследно».³⁴³

Писатель-невозвращенец Г. А. Глинка сообщил пишущему эти строки, что в Москве, среди писателей, ходила несколько иная версия рассказа о смерти Клюева осенью того же 1937 года: якобы Клюева не направляли для разрешения его дальнейшей участи в Москву, а просто перегоняли с одного места ссылки на другое. В пути поэт и погиб от сердечного припадка. Кое-какие соображения говорят в пользу этой версии: поэт был арестован в 1933 году, и к 1937 году пробыл в ссылке всего четыре года — слишком малый срок для «столь важного преступника», да еще в ежовском 1937 году. Кроме того, пересмотр дела (приговора), в те годы особенно, совершался обычно «за глаза», — и привозить для пересмотра в Москву (город запретный для всех, даже отбывших свое наказание по политическим статьям москвичей) столь «опасного контрреволюционера», каким не мог не считаться Николай Клюев, — ежовские заплечных дел мастера едва ли бы удосужились...

Но в те годы, особенно же в 1937 и в начале 1938 года, был очень распространен другой способ расправы с теми, кого советское правосудие считало наказанными не в меру их преступлений перед партией и правительством: этих людей вывозили из лагерей и мест ссылки якобы для пересмотра их дел в Москве — и расстреливали без суда и следствия на ближайшей станции.. И о гибели Клюева ходят и такие слухи. Думаем, они ближе всего к истине. Впрочем, мы едва ли когда-нибудь узнаем что-либо более достоверное о последних годах жизни Клюева — и о его смерти.

Судьба его рукописного наследства, по рассказу того же Иванова-Разумника, не менее трагична. «Кремль» пропал бесследно, но это — самая лучшая участь для вымученного и фальшивого панегирика жертвы палачу. А вот лучшие, наиболее зрелые и выстраданные вещи Николая Клюева последних лет: первая часть «Песни о Великой Матери», свыше 50 стихотворений и свыше 100 писем, хранившиеся в личном архиве Иванова-Разумника в его царскосельской квартире, — погибли в том же Пушкине (Царском Селе) зимой 1941-1942 года. Вторую часть «Песни о Великой Матери» поэт ухитрился переслать из ссылки своему другу Николаю Ильичу Архипову. В то время Архипов был хранителем Большого

Петергофского Дворца-музея. Чтобы лучше и вернее сохранить рукопись поэмы, «Архипов положил ее на одну из высоких кафельных печей в одной из зал дворца. Вскоре после этого он был арестован, а Петергофский дворец был разрушен войной 1941 года».³⁴⁴

Вторая и третья часть «Песни о Великой Матери» и все предсмертные стихи поэта погибли, очевидно бесследно, вместе с чемоданом поэта...³⁴⁵

Странник-певец, хитроумный сказитель, большой художник Николай Клюев умучен, погиб. Значительная и, может быть, лучшая часть написанного им погибла для нас безвозвратно. Из большинства советских библиотек — кроме, так сказать, академических — изъяты книги опального поэта. Во втором издании Большой Советской Энциклопедии нет даже упоминания о нем. Нет и книг о поэте, написанных после 1924-1925 года. Даже во второй половине 20-х годов, желая вспомнить о Клюеве, пристегивали воспоминания о нем к воспоминаниям о Есенине: так проще и безопаснее.. Иногда получались, правда, вещи курьезные: в иных статьях и воспоминаниях об Есенине значительно больше говорилось о Клюеве. Но написать прямо о Клюеве?! Еще обвинят в кулацком уклоне! Некоторое время, правда, замалчивали и Есенина. Долго в стихах Есенина изымали отдельные строфы, где упоминалось имя Клюева, изымались упоминания о нем и в автобиографических заметках «младшего брата»³⁴⁶ Только теперь появляются робкие попытки частичной реабилитации поэта. По обычной формуле: «посмертно реабилитирован». Так, в изданной Академией Наук СССР книге П. Выходцева «Русская советская поэзия и народное творчество», 1963, немало места уделено Клюеву, причем автор осмеливается заметить, что «даже в творчестве наиболее консервативных (Клюев) и наиболее противоречивых (Клычков, Орешин, Есенин) крестьянских поэтов трудно найти прямое отражение этой (кулацкой, БФ) идеологии и психологии».³⁴⁷ 21 ноября 1966 г. в «Литературной России», «по просьбе читателей» (что весьма характерно!) появилась большая статья Вл. Орлова «Николай Клюев» (сопровождается весьма тенденциозной и неудачной подборкой стихов поэта). Вл. Орлов старается быть возможно более объективным, но уже подбор им стихов Клюева — насквозь фальшив. «Особняком в русской поэзии начала XX века стоит Николай Клюев — поэт сильного

и самобытного дарования. В творчестве Клюева господствует совершенно особая стихия — крестьянская мистика, выросшая на скрещении старообрядческого начетничества, сектантского (в данном случае — хлыстовского) вероучения и очень своеобразных бунтарско-анархических настроений, находивших благодарную почву именно в сектантской среде. Это было целое мировоззрение, уходящее в стародавнюю народно-религиозную культуру русского Севера, в особый уклад его жизни. Правильно понять творчество Клюева в его истоках и содержании можно лишь в том случае, если рассматривать его под широким углом зрения — как факт не только литературы, но вообще русской действительности предреволюционной поры, породившей такие, например, явления, как распутищина». Начав с таких верных, в основном, положений, Вл. Орлов вынужден все-таки писать о «квасном патриотизме» военных и предвоенных стихов Клюева, о его «чуждости» советскому искусству (что, конечно, верно!): «Это — последний отзвук исторически обреченной кондовой России».

Ну, а в тридцатых годах Клюева поминали часто — и всегда недобрым словом. Обязательно прибегали к имени Клюева, когда желали особенно крепко ошельмовать какого-нибудь поэта. Так, О. Бескин, в статье «О поэзии Заболоцкого, о жизни и о скворешниках», сравнивает замечательную поэму Заболоцкого «Торжество земледелия» с «клюевщиной»: «...политически реакционная поповщина, с которой солидаризируется на селе кулак, а в литературе — Клюевы и Клычковы»...³⁴⁸ Е. Усиевич, в статье о талантливом поэте Павле Васильеве (умученном в застенках НКВД в 1937 г., когда ему еще не было и 27 лет...) и о его поэме «Соляной бунт», пишет, что первым из шагов по идеологической перестройке Васильева на советский лад «было совершенно необходимое — как неизбежное условие перестройки, а не как сама перестройка, — политическое размежевание с группой Клычкова и Клюева, которое произведено Васильевым в одном из его последних выступлений».³⁴⁹

Убить не только человека, не только его творчество, но постараться убить и саму память о человеке и его деле, большом и важном деле. Ведь Клюев, как никто в XX веке, перебрасывает мост, соединяет две разобщенные, казалось бы, навсегда России: древнюю Русь новгородской вольницы и Московии Аввакума — и имперски-нигилистическую, Пет-

ровско-Пушкинскую Россию,³⁵⁰ и Российскую империю предгрозя с РСФСР «погибели Земли Русския» и революционных взрывов:

Мы не знаем нынче покою,
Маята-змея одолела
Без сохи, без милого дела,
Без сусальной в углу Пирогощей..

И даря свои руссейшие песни итальянскому литератору и литературоведу, отправляя их в вечный Рим на поклон Олексию-Человеку Божию, Николе Милостивому, соснам Умбрии и убрису Апостола Петра, грешный, мятущийся, но вечно ищущий Облекшегося в лепоту Всецелого Бога, — большой поэт России писал:

...Расскажите им, песни, что заросли русские поля плакун-травой невылазной, что рыдален шум берез новгородских, что кровью течет Мать-Волга, что от туги и и скорби своего панцырного сердца захлебнулся черной тиной тур-Иртыш — Ермакова братчина, червонная суляя Сибирского царства, что волчьим воем воют родимые избы, замолкли грановитые погосты, и гробы отцов наших брошены на чумных и смрадных свалках.

Увы! Увы! Лютой немочью великая, непущенная и неприкаянная Россия!...

Но — «будет, будет русское дело» — «ясок с ордынской басмою сметет мужик бороною!»

И пусть это собрание произведений Николая Алексеевича Клюева, полнейшее из донине опубликованных, — даст возможность прикоснуться к погорелой, но вечно подлинной Руси, о которой свидетельствует нам последний народный поэт России:

Нерукотворную Россию
Я, песнописец Николай,
Свидетельствую, братья, Вам...

И пусть это собрание пестрых и противоречивых выписок, столь неприличное с обычной «академической» оглядки («как! — выписки по три страницы! — а где же автор?! автор статьи?..») приблизит большого — при всей своей внешней

неприглядности — человека к нам, тоже не без греха, тоже надломленным историческими бурями — и самой лоскутностью своею, своей противоречивостью непосредственных свидетельских показаний и оценок современников, — и даст хотя бы приближенное представление о человеке и певце, значительном и в самих падениях своих...

В разлуке жизнь обзревая,
То улыбаясь, то рыдая,
Кляня, заламывая пальцы,
Я слушаю глухие скальцы
Набухлых и холодных жил; —
Так меж затерянных могил,
Где мыши некому посватать,
На стужу, на ущерб заката
Ворчит осенняя вода...

Если удалось вместе с тем показать, что и затерянные могилы — не только некрополь, но и акрополь великой культуры, великого культурного преемства, если удалось показать, что Клюев не только так называемый «певец крестьянской Руси», но и большой певец Великой Матери — женского начала нашего мироздания, задача *составителя* и его цель — достигнута. И пусть «ордой иссечен», но навеки, навсегда

Осиянно вечен
Материнский Лик.

Борис ФИЛИППОВ.

1953. Нью-Йорк.

1969. Вашингтон.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Ольга Форш. Сумасшедший Корабль. Изд. Международного Литературного Содружества, Вашингтон, 1964, стр. 208-209.
- ² Георгий Иванов. Петербургские зимы. Изд. «Родник», Париж, 1928, стр. 83-84.
- ³ Александр Блок. Собрание сочинений в 8 томах. Том 7, ГИХЛ, Москва-Ленинград, 1963, стр. 70.
- ⁴ Н. Гумилев. Собрание сочинений в 4 томах. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том 4. Изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1968, стр. 281, 298-299.
- ⁵ Андрей Белый. Песнь Солнца. «Скифы». Сборник II, Петроград, 1918, стр. 8-9.
- ⁶ Осип Мандельштам. Письмо о русской поэзии (1922). В кн. Собрание сочинений в 3 томах. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том 3, изд. Междунар. Лит. Содружества, 1969, стр. 34.
- ⁷ С. Городецкий. О Сергее Есенине. Воспоминания. «Новый Мир», 1926, № 2, стр. 139.
- ⁸ Александр Блок. Собр. соч. в 8 тт. Т. 7, ГИХЛ, М.-Л., 1963, стр. 97.
- ⁹ В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Изд. «Петрополис», Брюссель, 1939, стр. 187-189.
- ¹⁰ Жизнеописание Аввакума. В кн.: А. Н. Робинсон. Жизнеописания Аввакума и Епифания. Исследование и тексты. Изд. Академии Наук СССР, Москва, 1963, стр. 139.
- ¹¹ Н. Клюев. (Автобиографическая заметка), в отделе «Литераторы о себе». «Красная Панорама», № 30 (124), Ленинград, 23 июля 1926, стр. 13. См. ее в этом томе нашего собр. соч. Клюева.
- ¹² Из рассказа Н. А. Клюева автору этой статьи.
- ¹³ Из автобиографич. заметки, см. примеч. 11-е.
- ¹⁴ Р. Иванов-Разумник. Николай Клюев. В его кн. «Писательские судьбы». Изд. (стеклографич.) «Литературный Фонд», Нью-Йорк, 1951, стр. 34. В дальнейшем ряд биографических сведений взят из этой статьи.
- ¹⁵ И. Розанов. Есенин и его спутники. В сборн. «Есенин. — Жизнь. — Личность. — Творчество», под ред. Е. Ф. Никитиной, изд. «Работник Просвещения», Москва, 1926, стр. 85.

- ¹⁶ Некоторые биографические сведения по статье П. Сакулина «Народный златоцвет». «Вестник Европы», 1916, № 5, стр. 200-201.
- ¹⁷ (Автобиографическая заметка) Н. Ключева, опубликованная в кн. «Современные рабоче-крестьянские поэты в образах и автобиографиях», составил П. Я. Заволокин. Изд. «Основа», Иваново-Вознесенск, 1925. См. эту заметку в этом томе нашего собр. соч. Ключева.
- ¹⁸ Е. В. Барсов. Причитания Северного края. Часть I, Москва, 1872, стр. 67.
- ¹⁹ (Автобиографическая заметка) Н. Ключева, 1930-х гг. — рукописн. собр. ИМЛИ, фонд 178, опись 1, № 10, — см. первую публикацию ее в наш. издании, в этом томе, в статье Гордона Мак-Вэя.
- ²⁰ Письмо протопопа Аввакума боярыне Морозовой. В кн. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения». Под ред. Н. К. Гудзия. Изд. «Academia», 6. г., стр. 306.
- ²¹ Н. С. Демкова. Неизвестные и неизданные тексты из сочинений протопопа Аввакума. В кн. «Труды отдела древнерусской литературы. Академия Наук СССР», XXI. Изд. «Наука», Москва-Ленинград, 1965, стр. 233.
- ²² Цитирую по книге «Раскольники и острожники. Очерки и рассказы. Сочинение Фед. Вас. Ливанова», том IV, СПб., 1873, стр. 253-254.
- ²³ И. Г. Айвазов. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1. Христовщина. Том III. Петроград, 1915, стр. 1-2.
- ²⁴ Исследование о скопческой ереси (соч. Надеждина), изданное по распоряжению г. министра внутренних дел, СПб., 1845. Перепеч. в кн. «Сборник правительственных сведений о раскольниках, составленный В. Кельсиевым», вып. 3, Лондон, 1862, стр. 138-139.
- ²⁵ Взята из дела о скопце, унтер-офицере Морской типографии Мироне Данильчикове. В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 3, приложения, стр. 68, № 32.
- ²⁶ В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 3, стр. 8.
- ²⁷ Там же, «Послания».
- ²⁸ Там же, стр. 8.
- ²⁹ Цитирую по кн. Ф. В. Ливанов. Раскольники и острожники. Том IV, СПб., 1873, стр. 302.
- ³⁰ Курсив мой. Цитирую по кн.: И. Г. Айвазов, цитир. труд, том I, 1915, стр. 575.
- ³¹ Там же, стр. 15-16.
- ³² Жизнеописание Епифания. В кн.: А. Н. Робинзон, цитир. труд, стр. 179.
- ³³ Граф Стенбок. Краткий взгляд на причины быстрого распространения раскола. В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 4, стр. 327.
- ³⁴ «Цветник» Евфимия. В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 4, стр. 263.

- ³⁵ В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 4, стр. 45-46.
- ³⁶ В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 1, стр. 209.
- ³⁷ И. Г. Айвазов, цитир. труд, том 1, стр. 563. Орфография и пунктуация нами приближена к общепринятой.
- ³⁸ В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 1.
- ³⁹ В. В. Розанов. Апокалипсическая секта. СПб, 1914, стр. 52.
- ⁴⁰ Н. Клюев. Братские песни. Изд. журнала «Новая Земля», М., 1912, стр. 60-62.
- ⁴¹ Дерюжинцы и Потапкины в XX-м столетии. В кн.: И. Г. Айвазов, цитир. труд, т. 1, стр. 471-472.
- ⁴² П. Мельников. Записка о русском расколе, составленная для В. Кн. Константина Николаевича. 1857. В кн.: В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 1, Лондон, 1860, стр. 197.
- ⁴³ П. Сакулин. «Народный златоцвет». «Вестник Европы», 1915, № 5, стр. 201.
- ⁴⁴ Вл. Орлов. Николай Клюев. «Литературная Россия», № 48 (204), 25 ноября 1966, стр. 16.
- ⁴⁵ Р. Иванов-Разумник. Николай Клюев. В его кн. «Писательские судьбы». Изд. Литературного Фонда, Нью-Йорк, 1951, стр. 34.
- ⁴⁶ Этот отрывок из письма опубликован в примечаниях А. Космана в кн. «Письма Александра Блока к Е. П. Иванову». Под ред. Цезаря Вольпе. Изд. Академии Наук СССР, М.-Л., 1936, стр. 124-125.
- ⁴⁷ Этот отрывок из письма опубликован в примечаниях М. И. Дикман в кн.: Александр Блок. Собрание сочинений в 8 тт. Т. 8, ГИХЛ, М.-Л., 1963, стр. 587.
- ⁴⁸ Письмо № 143: Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 215.
- ⁴⁹ Примечания А. Космана в кн. «Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову», 1936, стр. 124-125.
- ⁵⁰ Возможно, они были опубликованы в журнале «Доля Бедняка», как о том свидетельствует Л. М. Клейнборт (см. его «Встречи», в сборнике под ред. Ю. Л. Прокушева: Воспоминания о Сергее Есенине. Изд. «Московский Рабочий», М., 1965, стр. 131-132): «Клюев получил крещение... в 'Доле Бедняка'. Я напомнил как-то об этом самому Клюеву. Он смотрел на меня так, точно я о нем открывал ему вещи, о которых он сам не знал...». Однако, стихи эти не разысканы были, по крайней мере, до 1966 г. и советскими литературоведами. Во всяком случае, Вл. Орлов, в статье «Николай Клюев», пишет: «где напечатаны эти стихи — установить не удалось» («Литературная Россия», № 48, 25 ноября 1966, стр. 16). И, конечно, если эти стихи имеет в виду Клейнборт, то они далеко не были литературным дебютом Клюева, так как первые стихи, насколько нам удалось уста-

- новить, опубликованы Клюевым в сборнике «Новые Поэты», изд. 2-е (Н. Иванова), СПб, 1904.
- ⁵¹ «Письма Клюева сохранились у Л. Д. Блок в количестве 46», — прибавляет А. Косман (см. «Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову», 1936, стр. 125). «...Клюев, с которым Блок усиленно переписывался с 1908 по 1916 год», — пишет Л. Тимофеев (в его кн.: «Творчество Александра Блока». Изд. Академии Наук СССР, М., 1963, стр. 129).
- ⁵² Об этом глухо (простой оговоркой «не сохранились») пишет и Вл. Орлов в примеч. к кн.: Александр Блок. Сочинения в одном томе. Редакция Вл. Орлова. ГИХЛ, М.-Л., 1946, стр. 624. То же — в примечаниях к восьмитомнику Блока...
- ⁵³ См. статью: Вл. Орлов. Николай Клюев («Литерат. Россия», № 48, 25 ноября 1966, стр. 16).
- ⁵⁴ С. Л. Франк. Этика нигилизма. «Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции. Изд. 2, М., 1909, стр. 175.
- ⁵⁵ С. Н. Булгаков. Героизм и подвижничество. Там же, стр. 24-25.
- ⁵⁶ М. О. Гершензон. Творческое самосознание. Там же, стр. 79.
- ⁵⁷ А. Блок. Народ и интеллигенция. Собр. соч. в 8 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 322-324.
- ⁵⁸ П. Б. Струве. Интеллигенция и революция. «Вехи», М., 1909, стр. 160.
- ⁵⁹ А. Блок. Стихия и культура. Собр. соч. в 8 тт., т. 5, 1962, стр. 355-356.
- ⁶⁰ А. Вольский. Умственный рабочий. Изд. Международного Литературного Содружества, 1968, стр. 44.
- ⁶¹ В. И. Ленин. Что делать? Сочинения. Изд. 4, т. 5, М., 1946, стр. 347-348.
- ⁶² А. Блок. Литературные итоги 1907 года. Собр. соч. в 8 тт., т. 5, 1962, стр. 211.
- ⁶³ А. Блок. Стихия и культура. Там же, стр. 359.
- ⁶⁴ А. Блок. Три вопроса. Там же, стр. 237, 236.
- ⁶⁵ А. Блок. Письма о поэзии. Там же, стр. 281.
- ⁶⁶ С. Н. Булгаков. Задачи политической экономии. В его сборн.: От марксизма к идеализму. М., 1903, стр. 347.
- ⁶⁷ Н. Ф. Федоров. Философия Общего Дела. Т. 1. Верный, 1906, стр. 331.
- ⁶⁸ Там же, стр. 96.
- ⁶⁹ Там же, стр. 13.
- ⁷⁰ Там же, том 2, стр. 455.
- ⁷¹ Андрей Белый. Воспоминания о Блоке. «Эпопея», Москва-Берлин, 1922, № 2, стр. 119.
- ⁷² Александр Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 5, 1962, стр. 213-214.
- ⁷³ Письмо № 147. Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 219.

- ⁷⁴ Александр Блок. Записные книжки. 1901 - 1920. ГИХЛ, М., 1965, стр. 114, 115, 122.
- ⁷⁵ Письмо № 193, от 2 ноября 1908 — Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 258. «Письмо Н. А. Клюева опубликовано не было», — свидетельствует в примечаниях М. И. Дикман (там же, стр. 594).
- ⁷⁶ Письмо № 194, 5-6 ноября 1908 — там же, стр. 258-259.
- ⁷⁷ ЦГАЛИ, 1908, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39. Опубликовано частично: все приведенные нами отрывки в примечаниях М. И. Дикман — Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 594; первый отрывок также в кн.: Борис Соловьев. Поэт и его подвиг. Творческий путь Александра Блока. Изд. «Советский Писатель», М., 1965, стр. 254. Раздумья над этим письмом отразились в докладе и статье «Народ и интеллигенция». Доклад был прочитан Блоком 13 ноября 1908 г. в Религиозно-философском обществе. См. высказывания Горького о влиянии на Блока писем Клюева: «Литературное Наследство», т. 70, стр. 625. «И в письмах, и в личном общении Клюев с позиции 'народного поэта' и носителя 'народной религии' пытался усвоить в отношении Блока поучающе-обличительный тон, чему Блок на первых порах поддался», — пишет Вл. Орлов (Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, ГИХЛ, М.-Л., 1963, стр. 475). Следует заметить, однако, что Клюеву в то время было всего 20 лет, он на семь лет моложе Блока...
- ⁷⁸ Примеч. М. И. Дикман. Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 593.
- ⁷⁹ Отрицая наличие раскола между интеллигенцией и народом, В. В. Розанов назвал письмо Клюева, опубликованное Блоком (без имени автора письма) в статье «Литературные итоги 1907 года», письмом «бывшего дворового человека», «мужика», служителя в каком-либо ресторане, где он имел достаточно поводов «завидовать кутящим господам». Статья Розанова, под псевдонимом «В. Варварин», была опубликована в газ. «Русское Слово», М., 25 января 1908: «Автор 'Балаганчика' о петербургских религиозно-философских собраниях».
- ⁸⁰ Письмо № 187. Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 252.
- ⁸¹ Письмо № 189. Там же, стр. 254.
- ⁸² Ал. Блок. Стихия и культура. Собр. соч. в 8 тт., т. 5, 1962, стр. 357.
- ⁸³ Там же, стр. 358-359.
- ⁸⁴ Михаил Пришвин. Большевик из «Балаганчика». «Воля Страны», 16 (3) февраля 1918.
- ⁸⁵ Ал. Блок. Записные книжки. 1901 - 1920. М., 1965, стр. 131.
- ⁸⁶ Там же, стр. 159.

- ⁸⁷ Алексей Ремизов. Моя литературная судьба. — Магия. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 7 марта 1954.
- ⁸⁸ Анатолий Мариенгоф. Встречи с Сергеем Есениным. Изд. «Огонек», М., 1926, стр. 10. Тоже в кн. А. Мариенгофа «Роман без вранья». Изд. 3-е, «Прибой», Л., 1929, стр. 17. См. также: И. А. Бунин. Воспоминания. Изд. «Возрождение», Париж, 1950, ст. 17. В статье Р. Менского «Н. А. Клюев» — этот эпизод рассказан иначе: юный Клюев, мол, явился в Питер шпаклевать и белить городские квартиры, и за работой у Городецкого распелся. Когда Городецкий, услышавший пение из соседней комнаты, попросил Клюева продиктовать ему то, что он поет, юноша отказался: «Может быть, это большой грех». «С тех пор поэт и маляр, — пишет Р. Менский, — стали друзьями. Без преувеличения можно утверждать, что маляр оказал большее влияние на поэта, чем поэт на маляра». («Новый Журнал», Нью-Йорк, № 32, 1953, стр. 149-150).
- ⁸⁹ Надежда Дмитриевна Санжарь — писательница, автор автобиографической повести «Записки Анны» (1910).
- ⁹⁰ Пимен Иванович Карпов (1887 - 1963) — поэт и прозаик, из хлыстов. Автор книг стихов «Говор зорь» (1910), «Знойная лира» (1911), «Русский Ковчег» (1922), «Звездь» (1922) и повести «Пламень» (1913), о которой писал А. А. Блок. Карпов — из крестьян-бедняков, летом чаще всего работал батраком на сельскохозяйственных работах в деревне, зимой — жил случайными заработками в городе.
- ⁹¹ Дмитрий Владимирович Кузьмин-Караваев, юрист, историк, литератор, один из руководителей «Цеха Поэтов».
- ⁹² Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 70-71.
- ⁹³ Там же, стр. 72-73.
- ⁹⁴ «Вестник Европы», 1916, № 5, стр. 200.
- ⁹⁵ Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 100.
- ⁹⁶ Там же, стр. 101.
- ⁹⁷ Там же, стр. 101.
- ⁹⁸ Там же, стр. 101.
- ⁹⁹ Там же, стр. 102.
- ¹⁰⁰ Там же, стр. 103.
- ¹⁰¹ В. А. Десницкий. Социально-психологические предпосылки творчества Александра Блока. В кн.: Письма Александра Блока к родным. Том 2. Изд. «Academia», М.-Л., 1932, стр. 27.
- ¹⁰² Л. И. Тимофеев. Творчество Александра Блока. Изд. Академии Наук СССР, М., 1963, стр. 129, сноски.
- ¹⁰³ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 3с, ед. хр. 35, письмо № 21, без даты. Цитирую

- по указ. в примечании 102-м в указ. выше книге Л. Тимофеева, стр. 129.
- ¹⁰⁴ Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 105.
- ¹⁰⁵ Там же, стр. 106-107.
- ¹⁰⁶ Там же, стр. 108.
- ¹⁰⁷ А. Д. Скалдин. О письмах А. А. Блока ко мне. В кн. «Письма Александра Блока. Со вступ. статьями и примечаниями С. М. Соловьева, Г. И. Чулкова, А. Д. Скалдина и В. Н. Княжнина». Изд. «Колос», Л., 1925, стр. 176.
- ¹⁰⁸ Ольга Форш. Сумасшедший Корабль. Повесть. Изд. МЛС, Вашингтон, 1964, стр. 209-210.
- ¹⁰⁹ Ал. Блок. О Дмитрие Семеновском. Собр. соч. в 8 тт., т. 6, ГИХЛ, М.-Л., 1962, стр. 342.
- ¹¹⁰ Аркадий Вениаминович Руманов (1876 - 1960) — журналист, представитель сыгинской газеты «Русское Слово» в Петербурге; после Октября — эмигрант. «Главное, чтоб скуки не было. Подавать повкуснее, и в горячем виде. В Петербургском отделении А. В. Руманов, вездесущий, как Фигаро. Все видит, все знает. Раньше всех все пронюхает. Из министерских приемных не вылезает. Днем ездит, ночью телефонирует. На извозчиков состояние тратит» (Д. Аминадо. Поезд на третьем пути. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 177).
- ¹¹¹ Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 127.
- ¹¹² Женя — близкий друг Блока — Евгений Павлович Иванов (1879 - 1942) — третьестепенный литератор.
- ¹¹³ Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 156.
- ¹¹⁴ Там же, стр. 157.
- ¹¹⁵ Там же, стр. 158.
- ¹¹⁶ Там же, стр. 227.
- ¹¹⁷ В. Свенцицкий. (Вступ. статья) в кн.: Н. Клюев. Братские песни. Книга вторая. Изд. «Новая Земля», М., 1912, стр. V-VI.
- ¹¹⁸ ЦГАЛИ. Цитирую по примеч. М. И. Дикман в кн. Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 611.
- ¹¹⁹ Письмо № 326. Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, ГИХЛ, 1963, стр. 400-402.
- ¹²⁰ В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Изд. «Петрополис», Брюссель, 1939, стр. 186.
- ¹²¹ С. Городецкий. О Сергее Есенине. Воспоминания. «Новый Мир», 1926, № 2, стр. 199.
- ¹²² В. Варварин (В. В. Розанов). Автор «Балаганчика» о петербургских религиозно-философских собраниях. «Русское Слово», 21 января 1908. См. примеч. 79-е.

- ¹²³ Алексей Ремизов. Мышкина дудочка. Изд. «Оплешник», Париж, 1953, стр. 43-44.
- ¹²⁴ Цитирую по книге: Г. И. Поршнева. Революция и культура народа. Иркутск, 1917, стр. 93.
- ¹²⁵ Письмо приводится в книге: Helen Kazantzakis. Nikos Kazantzakis. A Biography. Transl. by Amy Mims. Simon and Schuster, New York, 1968, p. 192. О Клюеве там же, стр. 222, 246.
- ¹²⁶ Ю. Каменев. Литературные беседы. Николай Клюев. «Звезда», 1912, № 10.
- ¹²⁷ В. В. Розанов. Апокалипсическая секта. (Хлысты и скопцы). СПб, 1914, стр. 11.
- ¹²⁸ о. Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. Опыт православной феодицей в 12 письмах. Изд. «Путь», Москва, 1914, стр. 326.
- ¹²⁹ Проф. прот. В. В. Зеньковский. История русской философии. Том II. УМСА, Париж, 1950, стр. 415.
- ¹³⁰ С. Н. Булгаков. Философия хозяйства. Москва, 1912, стр. 119.
- ¹³¹ Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 10 тт., т. 7, ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 154.
- ¹³² «Волк клянется, землю ест». «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева, изд. 3-е, Москва, 1897, т. 1, стр. 3. Там же, примечание: «Это любопытное указание на старинный обряд клятвы. Вадим Пассек свидетельствует, что на Украине были примеры, когда клятва скреплялась целованием земли, и такая клятва считалась самой важною и священною (Путевые записки, стр. 151-152)».
- ¹³³ Борис Филиппов. Погорельщина. В его кн. «Живое прошлое», г. Вашингтон, 1965, стр. 103. См. также во втором томе этого издания Клюева.
- ¹³⁴ Н. Ф. Федоров. Философия Общего Дела. Т. 1. Верный, 1906, стр. 416.
- ¹³⁵ Сборник правительственных сведений о раскольниках, составленный В. Кельсиевым. Вып. 1, Лондон, 1860, стр. XXIX.
- ¹³⁶ Там же, вып. 2, Лондон, 1861, стр. XII.
- ¹³⁷ Вячеслав Иванов. Anima. В кн.: С. Л. Франк. Из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века. Антология. Посмертная ред. В. С. Франка. Изд. МЛС, 1965, стр. 183.
- ¹³⁸ Об этом подробно в моей статье «Николай Клюев. («Явление»)» — «Воздушные Пути», альм. IV. Ред.-изд. Р. Н. Гринберг, Нью-Йорк, 1965, стр. 216-231.
- ¹³⁹ В.....ский, Ч... Н. Клюев. Сосен перезвон. Изд. 2-е; Лесные были. «Вестник Европы», 1913, № 4, стр. 386.
- ¹⁴⁰ С. Городецкий. Некоторые течения в современной русской поэзии. «Аполлон», 1913, № 1, стр. 47.

- ¹⁴¹ В. Гиппиус. Встречи с Блоком. «Ленинград», 1941, № 3. Перепеч. в его книге «От Пушкина до Блока», изд. «Наука», Москва-Ленинград, 1966, стр. 337.
- ¹⁴² См., напр., письмо О. Э. Мандельштама к Федору Сологубу. О. Мандельштам. Собр. соч. в 3 тт. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Т. 3, МЛС, 1969, стр. 195.
- ¹⁴³ А. Волков. Поэзия русского империализма. ГИХЛ, Москва, 1935, стр. 155-156.
- ¹⁴⁴ «Звено», Париж, 1926, № 203, стр. 2.
- ¹⁴⁵ В. Львов-Рогачевский. Поэзия Новой России. Поэты полей и городских окраин. Изд. Писателей в Москве, 1919, стр. 48-49.
- ¹⁴⁶ «Клюев в молодости жил в Рязанской губернии несколько лет», — записывает со слов Есенина А. А. Блок в дневнике, под 4 января 1918. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, ГИХЛ, 1963, стр. 313.
- ¹⁴⁷ В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Изд. «Петрополис», Брюссель, 1939, стр. 185-186.
- ¹⁴⁸ Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 313.
- ¹⁴⁹ Лев Троцкий. Литература и революция. Изд. 2-е, ГИЗ, Москва, 1924, стр. 48 (статья «Николай Клюев»).
- ¹⁵⁰ Н. Ф. Федоров. Философия Общего Дела. Т. 1. Верный, 1906.
- ¹⁵¹ Вадим Шершеневич. Памяти Сергея Есенина. «Советское Искусство», 1926, № 1, стр. 51.
- ¹⁵² В. Ф. Ходасевич. Некрополь... 1939, стр. 191-192.
- ¹⁵³ Приведено в подстрочном примечании в кн.: Л. И. Тимофеев. Творчество Александра Блока. Изд. Академии Наук СССР, Москва, 1963, стр. 130.
- ¹⁵⁴ Б. С. Глаголин. «Слово за Распутина». Изд. Мэри О'Двайер, на правах рукописи (стеклографич. изд., тираж — 50 экз.). (Холливуд, 1945), стр. 3. В книге интересные воспоминания о нескольких встречах автора с Распутиным. Небезынтересно наблюдение Б. Глаголина: «Вера (Распутина, БФ) в каждого встречного и поперечного была в нем приятием добра и зла в слиянии их в одном, в порождаемом им третьем» (стр. 17). О Распутине и Клюеве см. замечания в статье: Борис Нарциссов. Николай Клюев. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 12 сентября 1954.
- ¹⁵⁵ И. Н. Розанов. Есенин и его спутники. Сбор. «Есенин. — Жизнь. — Личность. — Творчество», под ред. Е. Ф. Никитиной. Изд. «Работник Просвещения», Москва, 1926, стр. 89.
- ¹⁵⁶ Автобиография Сергея Есенина в разделе «Писатели о себе». «Новая Русская Книга», Берлин, 1922, № 5, стр. 41-42. Перепеч. в кн.: Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, Москва, 1962, стр. 9.

- ¹⁵⁷ В том же Собр. соч., т. 5, 1962, стр. 114.
- ¹⁵⁸ Архив Есенина, ЦГАЛИ, фонд 190, оп. 1, ед. хр. 110. Цитирую по кн.: Е. Наумов. Сергей Есенин. Жизнь и творчество. Учпедгиз, Ленинград, 1960, стр. 34.
- ¹⁵⁹ Указ. выше кн. Е. Наумова, стр. 34.
- ¹⁶⁰ ЦГАЛИ, ф. 190, оп. 1, ед. хр. 110. Цитирую по указ. выше кн. Е. Наумова, стр. 34.
- ¹⁶¹ См. сноску 160-ю, стр. 34-35.
- ¹⁶² Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 118.
- ¹⁶³ Там же, стр. 17.
- ¹⁶⁴ Архив Есенина, ЦГАЛИ, ф. 190, оп. 1, ед. хр. 111. Цитирую по указ. выше кн. Е. Наумова, стр. 36.
- ¹⁶⁵ Сергей Клычков (псевдоним Сергея Антоновича Лешенкова, 1889-1940; арестован в 1937 г. органами НКВД и погиб в его застенках или лагерях). Поэт и прозаик. «Песни», Москва, 1911; «Потаенный сад», Москва, 1913; «Дубравна», Москва, 1919; «Кольцо Лады», Москва, 1919; «Гость Чудесный», Москва, 1923; «Сахарный немец» (роман), 1925; «Серый барин», Харьков, 1926; «Чертухинский балакирь» (роман), 1926; «Талисман», Ленинград, 1927; «Князь мира», Москва, 1928; «В гостях у журавлей», Москва, 1930, и др. Когда в советской прессе и советских «исследованиях» сугубо охранительного типа говорят о кулацких идеологах, злейших реакционерах и т. д., то всегда вслед за именем Ключева называют Сергея Клычкова. Их относит к «правым буржуазным писателям» и В. Иванов («Формирование идейного единства советской литературы», ГИХЛ, Москва, 1960, стр. 88), и все почти «Истории русской советской литературы». Е. Наумов в его уже неоднократно цитированной нами книге о Есенине (1960, 2-е изд. 1965) причисляет к «кулацким поэтам» и Ключева, и Клычкова, и Ширияевца, и даже коммуниста (тоже репрессированного...) П. Орешина... «...Все они смотрели в прошлое» (стр. 125). Это пишется уже в послесталинские годы, когда Клычков «посмертно реабилитирован». А в двадцатые-тридцатые годы статьи о Клычкове носили такие имена, как «Бард кулацкой деревни» (О. Бескин — «Печать и Революция», 1929, № 7). Воспоминания о Клычкове опубликовал Г. Забежинский: «О Сергее Клычкове» — «Новый Журнал», Нью Йорк, 1952, № 29. А. Ширияевец (псевдоним Александра Васильевича Абрамова, 1887 - 1924). Поэт. «Стихи» (вместе с двумя еще авторами), Ташкент, 1911; «Запевка», Ташкент, 1916; «Алые маки», Петроград-Москва, 1917; «Край солнца и чимбета», Ташкент, 1919; «Мужикослов», Москва-Петроград, 1923; «Узоры», Москва-Петроград, 1923; «Раздолье», Москва-Петроград, 1924; «Волжские песни», Моск-

- ва, 1928. Талантливый поэт круга Клюева. Дружил с Есениным.
- ¹⁶⁶ О пении Клюева и Есенина под гармошку на литературных вечерах Городецкий говорил и в речи «Памяти Есенина», 21 февраля 1926. Сборн. «Есенин...», под ред. Е. Ф. Никитиной, 1926, стр. 44.
- ¹⁶⁷ С. Городецкий. О Сергее Есенине. Воспоминания. «Новый Мир», 1926, № 2, стр. 139, с исправлением времени первой встречи Есенина с Клюевым по перепечатке этих воспоминаний (перепечатке с цензурными пропусками!) в сборн. «Воспоминания о Сергее Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 168-170.
- ¹⁶⁸ В. С. Чернявский. Встречи с Есениным. «Новый Мир», 1965, № 10, стр. 194.
- ¹⁶⁹ Георгий Иванов. Петербургские зимы. Изд. «Родник», Париж, 1928, стр. 81-83.
- ¹⁷⁰ «Рудин», Петроград, 1915, № 1, стр. 16.
- ¹⁷¹ Мих. Мурашов. Сергей Есенин в Петрограде. В сборн. «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания». Под ред. И. В. Евдокимова. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1926, стр. 51.
- ¹⁷² М. М. Марьянова. Встречи с Есениным. В сборн. «Воспоминания о Сергее Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 176-177.
- ¹⁷³ М. Левидов. «Народная поэзия». «Журнал Журналов», 1915, № 30, стр. 8-9.
- ¹⁷⁴ «Журнал Журналов», 1916, № 10, стр. 6. Надежда Васильевна Плевицкая (1884- ок. 1939 — погибла во французской каторжной тюрьме, осужденная за активное участие в похищении в 1937 г. агентами ГПУ-НКВД — при содействии ее мужа, генерала Скоблина, — главы Общевоинского Союза в Париже, генерала Миллера) — известная исполнительница русских народных песен, с 1920 г. — в эмиграции.
- ¹⁷⁵ Неопубликованный дневник Б. А. Лазаревского. ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 145, № 10, лл. 27, 30. Цитирую по публикации этого отрывка в статье: Н. Хомчук. Есенин и Клюев (по неопубликованным материалам). «Русская Литература», 1958, № 2, стр. 158.
- ¹⁷⁶ А. Р. Изряднова. Воспоминания. Сборн. «Воспоминания о Сергее Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 101.
- ¹⁷⁷ И. Н. Розанов. Есенин и его спутники. В сборн. «Есенин...», под ред. Е. Ф. Никитиной, «Работник Просвещения», Москва, 1926, стр. 73-76.
- ¹⁷⁸ Г. Адамович. Литературные беседы. «Звено», Париж, 1926, № 154, стр. 1.
- ¹⁷⁹ Андрей Белый. Арбат. «Россия», 1924, № 1, февр., стр. 58-59.
- ¹⁸⁰ М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 29, ГИХЛ, Москва, 1955, стр. 315.
- ¹⁸¹ Литературное Наследство. Т. 70: Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Москва, 1963, стр. 373.

- ¹⁸² В. Ф. Ходасевич. Некрополь. 1939, стр. 220-221.
- ¹⁸³ Н. С. Лесков. Соборяне. — Собр. соч. в 11 тт., т. 4, ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 152.
- ¹⁸⁴ В. С. Чернявский. Первые шаги. В сборн. «Воспоминания о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 147, 149.
- ¹⁸⁵ Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, Москва, 1962, стр. 121-122.
- ¹⁸⁶ Там же, стр. 122.
- ¹⁸⁷ В. С. Чернявский. Первые шаги. В сборн. «Восп. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 143.
- ¹⁸⁸ И. Юдина. Литературный фонд и русские писатели 1910-х годов (Письма М. Горького, С. Есенина, Н. Клюева, С. Подъячева). «Русская Литература», 1926, № 2, стр. 210-211.
- ¹⁸⁹ А. Волков. Поэзия русского империализма. ГИХЛ, 1935, стр. 157-158, 156.
- ¹⁹⁰ Н. Венгров. Н. Клюев. Мирские думы. «Современный Мир», 1916, № 2.
- ¹⁹¹ З. Бухарова. Н. Клюев. Мирские думы. «Ежемесячные Литературные и Популярно-Научные Приложения к 'Ниве'», 1916, № 5, май, столб. 146-148. В том же номере ее же рецензия на «Радуницу» С. Есенина, где Клюев именуется «мудрым, глубоким 'сказителем'» (столб. 150).
- ¹⁹² М. А. Рыбникова. Книга о языке. Изд. 3-е, «Работник Просвещения», Москва, 1926, стр. 40-47. Приводимые автором примеры неудачны, а объяснения ряда клюевских слов неверны.
- ¹⁹³ Е. В. Барсов. Причитания Северного края. Часть 2, Москва, 1882, стр. 15 — плач Ирины Федосовой по рекрутам.
- ¹⁹⁴ С. Городецкий. О Сергее Есенине. Воспоминания. «Новый Мир», 1926, № 2, стр. 140.
- ¹⁹⁵ Н. Н. Никитин. О Есенине. В сборн. «Воспом. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 480.
- ¹⁹⁶ Рюрик Ивнев (настоящее имя и фамилия — Михаил Александрович Ковалев, р. 1891). Поэт. Впервые выступил в печати в 1909. Книги стихов: «Самосожжение», кн. 1, 1913; «Пламя пышет», 1913; «Золото смерти», 1916; «Самосожжение», 1917; «Солнце во гробе», 1921; «Моя страна», 1943; «Стихи», 1948; романы: «Несчастный ангел», 1917; «Любовь без любви», 1925; «Открытый дом», 1927; «Герой романа», 1928. Примыкал к эгофутуристам (1913 - 1916), был имажинистом (1919 - 1924), был отчасти близок к «Скифам» (1917 - 1918).
- ¹⁹⁷ Имеется в виду, очевидно, неоднократно упоминавшийся ранее в этих материалах для биографии Клюева расстриженный за революционные выступления и связи со староверами и сектантами священ-

ник Иона Пантелеевич Брихничев, поэт, критик, публицист, близкий (особенно в 1912 - 1913 гг.) к Клюеву, издатель журналов «Новая Земля» и «Новое Вино».

- ¹⁹⁸ Г. Иванов. Петербургские зимы. «Родник», Париж, 1928, стр. 158.
- ¹⁹⁹ Р. Иванов-Разумник. Три богатыря. «Летопись Дома Литераторов», 1922, № 3, стр. 5.
- ²⁰⁰ Евг. Замятин. Я боюсь. «Дом Искусств», 1921, № 1, стр. 44. Перепеч. в его кн. «Лица», МЛС, 1967, стр. 187. В своей статье «Русская литература» Замятин несколько раз упоминает Клюева более спокойно и объективно («Грани», № 32, 1956/57, стр. 93, 97, 99).
- ²⁰¹ Р. Иванов-Разумник. Три богатыря. «Лет. Дома Литер.», 1922, № 3, стр. 5.
- ²⁰² Петр Васильевич Орешин (1887 - 1938). Поэт. Примыкал к кругу Н. Клюева. Выступил в печати впервые в 1911. Погиб в 1938 г. в застенках НКВД. Свыше 50 книг стихов, в том числе: «Зарево», 1918; «Красная Русь», 1918; четырехтомник: «Ржаное солнце», 1923, «Солнечная плаха», 1925, «Родник», 1927 и «Откровенная лира», 1928. В своих воспоминаниях «Мое знакомство с Сергеем Есениным» Орешин рассказывает, как вечером, около девяти часов, осенью 1917 года, «когда в воздухе уже попахивало Октябрем», к нему неожиданно явился шегольский одетый (уже не в русском маскараде) Есенин. «Спрашивает, улыбаясь: — С Клюевым ты как... знаком? — Нет. — А с Городецким? А с Блоком? — Нет... — Вот чудак! А ведь Блок и Клюев... хорошие ребята!.. Зря ты так, в стороне...» (Сборн. «Воспомин. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 187). Очень скоро Орешин примкнул к группе Клюева, но стоял ближе других поэтов его круга к коммунистической партии. Но и он пал жертвой террора, но и раньше подвергался всяческим нападкам, о которых достаточно добродушно, но не без горечи, рассказал в одном из своих стихотворений:

В РЕДАКЦИИ

Вчера в редакции одной
Мне сказано всерьез:
— Опять, опять ты, милый мой,
Гармошку нам принес!

— Опять березы средь полей,
Опять мужичья грудь...
Нельзя ли, братец, поновей,
Измысли что-нибудь!

Обидно стало мне до слез,
С чего, и сам не знай..
Да, я, действительно, принес
Стихи про русский край.

Редактор, вижу, больно строг,
Да что же делать мне?
.....
Всю ночь забыться я не мог
И водку пил... во сне!

1926

(«Родник», стихи, т. III, Москва-Ленинград, 1927).

- ²⁰³ О Блоке в «Скифах» см.: Ал. Ильина (Сеферьянц). Непостижимая. В сборн. «О Блоке», под ред. Е. Ф. Никитиной, изд. «Никитинские Субботники», Москва, 1929, стр. 328.
- ²⁰⁴ М. А. Шум слитный. «Знамя Борьбы», Берлин, 1927, № 22-23, стр. 17.
- ²⁰⁵ Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова. «Эпопея», под ред. Андрея Белого, Берлин, № 2, 1922, стр. 61-63.
- ²⁰⁶ Осип Манделъштам. Египетская марка. — Собр. соч., под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, МЛС, 1966, стр. 52.
- ²⁰⁷ Исследование о скопческой ереси (Надеждина). Напечатано по приказу г. министра внутренних дел. СПб, 1845. Цитирую по указ. выше сборнику В. Кельсиева, вып. 3, Лондон, стр. 143. Ср. также песню о «Хлебе солнечном», сообщенную гуслиром-складателем А. Котомкиным и включенную мной в рассказ «Бродяги»:

Ой, вы, люди русские,
И все люди Божии!
Сирь странники —
Калики перехожие!
Побредем-пойдем
Мы тропушкою тернистою
Как ко Той
Пресвятой Богородице!
.....
Мы попросим,
Мы помолим
Хлеба того Солнечного,
Что у ясна месяца

В чаше покоится,
Как во той ли
Семизвездной чаше
Во серебряной.
Мы накормим
Русь нашу Матушку,
Чтоб не ела она
Хлеба того каменна,
Хлеба каменна окаянного,
Не погибла чтоб
От руки дьявола нечистого,
От слуги его —
Проклятого Антихриста...

.....

(Борис Филиппов. Кресты и перекрестки. Изд. В. П. Камкина. Вашингтон, 1957, стр. 73).

²⁰⁸ И. Н. Розанов. Есенин и его спутники. Сборн. «Есенин...», под ред. Е. Ф. Никитиной, 1926, стр. 80.

²⁰⁹ Лев Троцкий. Ключев. В его кн. «Литература и революция», изд. 2, ГИЗ, 1924, стр. 49-50.

²¹⁰ Мария Александровна Спиридонова (р. 1889) — виднейший лидер левого крыла социалистов-революционеров («левых эсеров»). В записных книжках Блока запись от 2 января 1918: «Митинг 'Народ и интеллигенция' в Зале Армии и Флота (Луначарский, Коллонтай, Иванов-Разумник — не будет, Петров-Водкин — не будет, я — не буду, Камков, Ивнев, Гуро, М. Спиридонова)...» (Ал. Блок. Записные книжки. 1901 - 1920. ГИХЛ, Москва, 1965, стр. 381).

²¹¹ Р. Ивнев. Об Есенине. Сборн. «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания», под ред. И. В. Евдокимова. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1926, стр. 16, 18, 19.

²¹² Б. Яковенко. Издательство «Скифы». «Русская Книга», Берлин, 1921, № 1, стр. 9. Так же определяют это движение А. Меньшутин и А. Синявский: «В противоположность позднейшим 'Запискам Мечтателей' — изданию камерного, 'музейного' типа, проникнутому консервативностью, пассаизмом, академизмом и стремящемуся соблести 'чистоту' символистской традиции, — 'Скифы' открыто ориентировались на революционную современность, выступали под лозунгом 'бури и натиска', мятежа, боевой активности. Поэтическое ядро этой группы, наряду с Белым и Блоком, составляли так называемые

крестьянские поэты — Н. Клюев, С. Есенин и П. Орешин, испытавшие в свое время зависимость от символизма, но более свободные от его канонов, а главное — иной, чем символисты, социальной среды, иной жизненной судьбы, опыта, биографии. Этот 'символистско-крестьянский' альянс, зародившийся на основе прежних литературных связей (Клюев и Есенин еще до Октября находились в тесных отношениях с символистами), осуществлялся в период революции под знаком 'неонародничества', чему немало способствовал идейный руководитель 'Скифов' Р. В. Иванов-Разумник с явственно выраженным левоэсеровским уклоном. Политический профиль 'скифских' изданий (сборники 'Скифы', журнал 'Наш Путь' и др.) во многом определялся программой левых эсеров, которые на первых порах поддерживали большевиков, но вскоре повели борьбу по вопросу о мире, о диктатуре пролетариата и т. д. ...Поэты в этой борьбе участия не принимали...» (А. Меньшутин и А. Синявский. Поэзия первых лет революции. 1917 - 1920. Академия Наук СССР. Институт Мировой Литературы им. А. М. Горького. Изд. «Наука», Москва, 1964, стр. 64-65).

- ²¹³ «Скифы», сборник 1, изд. «Скифы», СПб, 1917, стр. VII, VIII, X.
- ²¹⁴ Максимилиан Волошин. Северовосток. В его кн.: «Демоны глухонемые», 2-е изд. Изд. Писателей в Берлине, 1923, стр. 41.
- ²¹⁵ А. Меньшутин и А. Синявский. Указ. выше книга, стр. 67.
- ²¹⁶ Андрей Белый. Песнь Солнценосца. «Скифы», сборн. II, Петроград, 1918, стр. 8-9.
- ²¹⁷ Р. Иванов-Разумник. Поэты и революция. Там же, стр. 1.
- ²¹⁸ А. Белый. Цитир. выше статья, стр. 10.
- ²¹⁹ Мих. Платонов. Скифы ли? «Мысль», альм. 1. Изд. «Революционная Мысль», Петроград, 1918, стр. 291-292.
- ²²⁰ П. В. Орешин. Мое знакомство с Сергеем Есениным. Сбор. «Воспоминания о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 189.
- ²²¹ Д. Благой. Материалы к характеристике Сергея Есенина. Из архива поэта А. Ширяевца. «Красная Новь», 1926, № 2, стр. 201.
- ²²² Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 128. Переписка Клюева с Аверьяновым — см. в статье Гордона Мак-Вэя.
- ²²³ «У нас гости в столовой, — сказал Толстой (Алексей Николаевич. БФ), заглянув в мою комнату, — Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занятный. Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про Великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил 'по-поповски', накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, деловито осмотрел марку

фарфора, затем перекрестился в угол на этюд Сарьяна и принялся читать вслух вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, черезчур фольклорное словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня его мизинец с длинным хорошо отполированным ногтем. Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал...» (Н. В. Толстая-Крандиевская. Сергей Есенин и Айседора Дункан. Сборн. «Воспоминания о Сергее Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 325.

²²⁴ Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 129-130.

²²⁵ Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 1, ГИХЛ, Москва, 1966, стр. 291-292.

²²⁶ Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7 (Дневники), ГИХЛ, Москва-Ленинград, 1963, стр. 313-314. Здесь — не мысли и оценки Блока, а запись мыслей и оценок Есенина, метавшегося всю жизнь от преклонения перед Клюевым к ненависти к нему и всяческому умалению его значения. Оценка Клюева дана Блоком в уже цитированном нами отзыве на стихи Д. Семеновского: «...что приходится признать, с чем нельзя не считаться, но с чем, по-моему, жить нельзя: тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь...» (там же, т. 6, 1962, стр. 342). Но оценка, при неприятии поэтического мира Клюева, остается высокой, и интерес к Клюеву у Блока не ослабевает: Блок вспоминает в своих дневниках «злые карикатуры на... Городецкого, Клюева, Ремизова и Есенина по поводу 'Красы' Ясинского» в «журнальчике 'Рудин', издававшемся Рейснерами, 'пораженческом' в полном смысле, до тошноты плюющемся злобой и грязным» (запись 5 марта 1921, когда Лариса Рейснер уже была важной советской сановницей). 18 апреля того же года в дневнике выписки из статьи Петроника — и опять запись о Клюеве (Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 411-412 и 416-417). А. М. Ремизов, после выхода первого сборника «Скифов», отошел от Скифов. О Клюеве писал около 1-10 июля 1917 г., правда, записывая очередной свой ремизовский «сон» (некоторые его знакомые требовали от Ремизова никогда не видеть их во сне...): «Вошел Клюев: он в огромной соломенной шляпе, в поддевке, но уже без своего серебряного креста. — Страх ради революции. — У нас стоит инструмент: не то арфа, не то гусли, — объясняет Клюев, — а самопишущее перо Адлер, без чернил пишет». (Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова. «Эпопея», Берлин, № 3, декабрь 1922, стр. 105).

²²⁷ Здесь у Есенина прямой выпад не столько против Клюева, сколько против Осипа Мандельштама:

Я сказал: виноград как старинная битва живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке...

(О. Мандельштам. Собр. соч. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 1, изд. 2-е, МЛС, 1967, стр. 64).

- ²²⁸ Ключи Марии. Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 47-48. Некоторый интерес представляет здесь, возможно не случайное, упоминание Бердслея и Уайльда, заведомых гомосексуалов...
- ²²⁹ В. Ф. Наседкин. Последний год Есенина. Сборн. «Восп. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 448.
- ²³⁰ Лев Троцкий. Литература и революция. Изд. 2-е, ГИЗ, 1924, стр. 50. А. Меньшутин и А. Синавский пишут сорок лет спустя: «В самом деле, в облике Клюева было много от сектанта-начетчика, осуществлявшего весьма умело свое духовное руководство. Крайний фанатизм, нетерпимость, готовность стоять до конца на защите своего идеала 'в самосожженных стихах' — совмещались у него с достаточной гибкостью, расчетливостью, 'живучестью' в отношении с современностью». (Поэзия первых лет революции. 1917-1920. Изд. «Наука», Москва, 1924, стр. 69).
- ²³¹ Василий Князев. Ржанные апостолы. (Клюев и клюевщина). Изд. «Прибой», Петроград, 1924, стр. 86. Книга написана много раньше: в 1921 году.
- ²³² «Знамя Труда», 9 (22) мая 1918.
- ²³³ В. В. Розанов. Апокалипсис нашего времени. № 1. Сергиев Посад, 1917, стр. 7-8.
- ²³⁴ Л. Троцкий. Литература и революция. Изд. 2-е, ГИЗ, 1924, стр. 116. Подавляющее большинство советских критиков и исследователей творчества Клюева почти буквально повторяют характеристику поэта, данную Троцким, но, само собою разумеется, не смеют упоминать запретнейшее имя Троцкого.
- ²³⁵ «Пламя», № 28, октябрь 1918, стр. 11. «История русской советской литературы» подчеркивает полемический характер этого стихотворения, как бы упрекая даже вдохновителя журнала и его редактора — наркома просвещения А. В. Луначарского в некой «аполитичности»: «Литературный отдел 'Пламени' отражал несомненно позицию редактора журнала А. В. Луначарского. В каждом номере журнала публиковались стихи, авторы которых принадлежали к самым различным течениям современного искусства. Мы встретим здесь пролетарских поэтов... и такого 'крестьянского' поэта, как Н. Клюев, который резко противопоставлял свое творчество творчеству пролетарских поэтов: 'Мы ржанные, толоконные...' — и утверждал, что '...цвести над Русью новою будут гречневые гении'. В другом стихотворении Н. Клюев бросает вызов В. Маяковскому. А между тем рядом с цитированным выше стихотворением Н. Клюева в том же номере, вышедшем к пер-

- вой годовщине Октябрьской революции, редакция поместила 'Оду революции' В. Маяковского». (Н. И. Дикушина. Литературные журналы 1917 - 1920 гг. В кн. «История русской советской литературы» в 3 тт., т. 1, Акад. Наук СССР, 1958, стр. 499-500).
- ²³⁶ «Знамя Труда», 1918, № 1.
- ²³⁷ Л. Троцкий. Литература и революция. Изд. 2-е, 1924, стр. 51.
- ²³⁸ Н. Клюев. Ленин. ГИЗ, 1924 (вышло в 1924 г. три издания этой книжки).
- ²³⁹ Ал. Блок. Записные книжки. 1901 - 1920. ГИХЛ, Москва, 1965, стр. 420, 248: записи от 12 августа и 19 сентября 1918.
- ²⁴⁰ Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 233-235.
- ²⁴¹ Ник. Клюев. Красный конь. «Грядущее», 1919, № 5-6, стр. 15.
- ²⁴² Ник. Клюев. Огненная Грамота. «Грядущее», 1919, № 7-8, стр. 18. «Поселившись на далекой Вытегре, наподобие волшебника, он обращался с посланиями к русскому народу, напоминающими одновременно религиозную проповедь и боевую прокламацию: 'Нищие, голодные, мученики...' — Любопытно, что это приветствие было опубликовано в пролеткультовском журнале, который хотя и критиковал Клюева, но вместе с тем считал нужным поддерживать с ним контакт. Его вскоре даже ввели в состав сотрудников журнала, наряду с А. Гастевым, И. Садофьевым, П. Лебедевым-Полянским и другими деятелями пролетарской литературы. (См. «Грядущее», 1920, № 3). Видимо, это сотрудничество осуществлялось под знаком единения рабочего класса с крестьянством, и посланцем, 'ходоком' от крестьянства в данном случае выступал Клюев, охотно принимавший на себя эту миссию. Между тем Клюев, как это явствует уже из приведенных строк его послания, под лозунгами 'общенародной' борьбы на передний план выдвигал своих излюбленных 'вещих старичков' и 'многослезных бабушек' — не революционную молодую Россию, а уходящую 'дремучую' Русь!» (А. Меньшутин и А. Синявский. Поэзия первых лет революции. 1917 - 1920. «Наука», 1964, стр. 70).
- ²⁴³ Б/эссалько/. «Медный Кит» Николая Клюева. «Грядущее», 1919, № 1, стр. 23. В журн. «Пламя» была помещена — в № 38, от 26 января 1919 (стр. 15-16) — рецензия на «Медного Кита» другого пролеткультовца — А. Крайского.
- ²⁴⁴ Инн. Оксенов. Песнослов. Кн. I-II. «Книга и Революция», 1920, № 6, стр. 46-47.
- ²⁴⁵ А. Воронский. Литературные портреты. Том 2. Изд. «Федерация», Москва, 1929, стр. 176. Много говорит о Клюеве, причисляемом им к футуристам-бедетлянам, — и о неонародничестве Я. Шапирштейн-

- Лерс в его книге «Общественный смысл русского футуризма», Москва, 1922, стр. 34, 47-48.
- ²⁴⁶ Вс. Рождественский. Ник. Клюев. Мать-Суббота. «Книга и Революция», 1923, № 2 (26), стр. 62.
- ²⁴⁷ Петроник. Идея родины в советской поэзии. «Русская Мысль», София, 1921, № I-II.
- ²⁴⁸ М. Кузмин. Парнасские трофеи. «Завтра», сборн. I. Изд. «Петрополис», Берлин, 1923, стр. 116.
- ²⁴⁹ Слово и культура. Осип Мандельштам. Собр. соч. под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, МЛС, 1966, стр. 264.
- ²⁵⁰ Евгений Замятин. Пещера. Собр. соч., т. 3. Изд. «Федерация», Москва, 1929, стр. 186.
- ²⁵¹ Виктор Шкловский. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. 1918 - 1923. Изд. «Атеней», Ленинград, 1924, стр. 54.
- ²⁵² В. Зоргенфрей. Над Невой. «Дом Искусств», СПб, № 2, 1921. Затем в сборн. автора «Страстная Суббота», Петроград, 1922.
- ²⁵³ Борис Пильняк. Повесть Петербургская. Изд. «Геликон», Берлин, 1922, стр. 28.
- ²⁵⁴ Ал. Блок. Собр. соч., т. 8. Изд. «Советский Писатель», Ленинград, 1936, стр. 247.
- ²⁵⁵ Там же, стр. 245.
- ²⁵⁶ Ал. Блок. Записные книжки. 1901 - 1920. ГИХЛ, Москва, 1965, стр. 505.
- ²⁵⁷ Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 137-138.
- ²⁵⁸ Там же, стр. 348. Николай Ильич Архипов — прозаик, автор романа «Так было», Москва, 1926. До революции — редактор ежемесячных альманахов «Новая Жизнь», в 1920-х гг. — редактор издательства того же названия в Москве. В 1930-х гг. Архипов был хранителем Большого Петергофского дворца-музея. Был арестован во время ежовщины (см. Р. Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Нью Йорк, 1951, стр. 37).
- ²⁵⁹ Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 142.
- ²⁶⁰ Анатолий Мариенгоф. Роман без вранья. Изд. 3-е, «Прибой», Ленинград, 1929, стр. 20-21.
- ²⁶¹ Е. Наумов. Сергей Есенин... 1960, стр. 88.
- ²⁶² Неопубликованные воспоминания А. Назаровой, написанные в 1926 г. (ЦГАЛИ). Цитирую по указ. выше книге Е. Наумова, стр. 88-89. В примеч. к кн.: Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 318-319, эта встреча поэтов отнесена не к 1920, а к 1923 г.
- ²⁶³ А. Мариенгоф. Неопубликованные воспоминания. Всесоюзн. Гос. Библиотека им. Ленина, Архив Есенина, фонд 218, № 686, ед. хр. 5. Цитирую по указ. выше книге Е. Наумова, стр. 89.

- ²⁶⁴ А. Мариенгоф. Роман без вранья. Изд. 3-е, «Прибой», Ленинград, 1929, стр. 21.
- ²⁶⁵ И. Кремнев. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Часть 1. С предисловием П. Орловского. ГИЗ, Москва, 1920, стр. XIV, 47, 39.
- ²⁶⁶ Партархив ИМЛ, ф. 17, оп. 60, ед. хр. 45, л. 11. Цитирую по указ. выше книге А. Меньшутина и А. Синявского, стр. 72.
- ²⁶⁷ Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 314-315.
- ²⁶⁸ Там же, стр. 145-149.
- ²⁶⁹ «Список письма хранится у Н. И. Архипова, жившего в те годы вместе с Клюевым в Вытегре». — Там же, стр. 348.
- ²⁷⁰ Там же, стр. 150.
- ²⁷¹ Н. Клюев. Львиный Хлеб. Изд. «Наш Путь», Москва, 1922, стр. 75-76.
- ²⁷² С. Городецкий. О Сергее Есенине. Воспоминания. «Новый Мир», 1926, № 2, стр. 144.
- ²⁷³ Л. Троцкий. Литература и революция. Изд. 2-е, 1924, стр. 50, 51.
- ²⁷⁴ Э. П. Бик. Четвертый Рим. «Печать и Революция», 1922, № 2, стр. 363.
- ²⁷⁵ (Без подписи). Н. Клюев. Четвертый Рим. «Новая Русская Книга», Берлин, 1922, № 6, стр. 22.
- ²⁷⁶ М. Павлов. Н. Клюев. Четвертый Рим. «Книга и Революция», 1922, № 4, стр. 48-49.
- ²⁷⁷ Р. Иванов-Разумник. Три богатыря. «Летопись Дома Литераторов», 1922, № 3, стр. 5.
- ²⁷⁸ Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 151-152.
- ²⁷⁹ Там же, стр. 154-156.
- ²⁸⁰ М. Бабенчиков. Есенин. Сборн. «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания», под ред. И. В. Евдокимова, ГИЗ, Москва-Ленинград, 1926, стр. 42.
- ²⁸¹ В. Кириллов. Встречи с Есениным. В том же сборнике, стр. 172.
- ²⁸² Там же, стр. 177.
- ²⁸³ И. Старцев. Мои встречи с Есениным. Тот же сборн., стр. 72.
- ²⁸⁴ И. Грузинов. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. Изд. Всероссийского Союза Поэтов, Москва, 1927, стр. 19-20.
- ²⁸⁵ В. Эрлих. Право на песнь. Изд. Писателей в Ленинграде, 1930. О Клюеве, стр. 14.
- ²⁸⁶ И. Н. Розанов. Воспоминания о Сергее Есенине. Сборн. «Воспом. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 299.
- ²⁸⁷ А. Кусиков. Битюг (Н. Клюев. Львиный Хлеб. «Книга старательных пророчеств»). Литературн. Приложение к газ. «Накануне», Берлин, 7 мая 1922.
- ²⁸⁸ Р. Иванов-Разумник. «Мистерия» или «Буфф»? «Искусство старое и

- новое», сборн. под ред. К. Эрберга, I, изд. «Алконост», Петербург, 1921, стр. 71-72.
- ²⁸⁹ Ольга Форш. Сумасшедший Корабль. Вступ. статья Б. Филиппова. МЛС, Вашингтон, 1964, стр. 226-227.
- ²⁹⁰ Вс. Рождественский. Н. Клюев. Мать-Суббота. «Книга и Революция», 1923, № 2 (26), стр. 62.
- ²⁹¹ В. В. Сиповский. Поэзия народа. Пролетарская и крестьянская лирика наших дней. Изд. «Сеятель», Петроград, 1923, стр. 103-104.
- ²⁹² Причитание. — Анна Ахматова. Сочинения. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Т. 1, изд. 2-е, МЛС, 1967, стр. 225.
- ²⁹³ ИМЛИ, фонд 32, оп. 5, № 9. Сообщено мне Гордоном Мак-Взем, которому приношу благодарность.
- ²⁹⁴ Заметка в хронике. «Новая Русская Книга», Берлин, 1922, № 8, стр. 28.
- ²⁹⁵ Заметка в хронике. «Летопись Дома Литераторов», 1921, № 2, стр. 8.
- ²⁹⁶ М. Д. Ройзман. «Вольнодумец» Есенина. Сборн. «Воспомин. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 258.
- ²⁹⁷ Ив. Грузинов. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. Изд. Всеросс. Союза Поэтов, Москва, 1927, стр. 19-20.
- ²⁹⁸ А. Л. Миклашевская. Встречи с поэтом. Сборн. «Воспомин. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 350.
- ²⁹⁹ А. Мариенгоф. Роман без вранья. Изд. 3-е, «Прибой», Ленинград, 1929, стр. 148-150. «Изадора» — Айседора Дункан. «Петр» — поэт П. Орешин.
- ³⁰⁰ Ив. Грузинов. Цитир. выше книга, стр. 19-20.
- ³⁰¹ Вольф Эрлих. Право на песнь. Изд. Писателей в Ленинграде, 1930, стр. 25, 57.
- ³⁰² Заметка в хронике. «Новая Русская Книга», Берлин, 1923, № 2, стр. 33. Об этом же (но без указания названия рассказа Клюева) в заметке в хронике: «Печать и Революция», 1923, № 4, стр. 305.
- ³⁰³ «Жизнь писателей» — в «Литературной Неделе» газ. «Накануне», Берлин, 25 декабря 1923, стр. 12.
- ³⁰⁴ Л. Троцкий. Литература и революция. Изд. 2-е, 1924, стр. 48.
- ³⁰⁵ «Печать и Революция», 1924, № 2.
- ³⁰⁶ Г. Лелевич. На литературном посту. Статьи и заметки. Изд. «Октябрь», Тверь, 1924, стр. 156.
- ³⁰⁷ Нейтралитет или руководство? «Правда», 19 февраля 1924.
- ³⁰⁸ Н. Ф. Федоров. Философия Общего Дела. Т. 2, стр. 155.
- ³⁰⁹ Р. Менский. Н. А. Клюев. «Новый Журнал», Нью Йорк, № 32, стр. 150.
- ³¹⁰ Егорушке Клычкову. Стихи. В кн.: Павел Васильев. Стихотворения и

поэмы. Библиотека Поэта. Большая серия. Изд. «Советск. Писатель», Ленинград, 1968, стр. 153.

- ³¹¹ М. М. Пришвин. Глаза земли. — Собр. соч. в 6 тт., т. 5, ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 390.
- ³¹² На Кавказе. — Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 3, ГИХЛ, Москва, 1967, стр. 29.
- ³¹³ Г. Устинов. Мои воспоминания о Есенине. Сборн. «Серг. Ал. Есенин. Воспоминания», под ред. И. В. Евдокимова, ГИЗ, Москва-Ленинград, 1926, стр. 164.
- ³¹⁴ Вольф Эрлих. Право на песнь. Изд. Писателей в Ленинграде, 1930, стр. 96-98 (первоначально отрывок «Четыре дня», в сборн. «Памяти Есенина» Всеросс. Союза Поэтов, Москва, 1926, стр. 91-92). Г. Устинов в цитир. выше воспоминаниях пишет об этом почти в тех же словах: «Он читал Клюеву свои новые стихи. Клюев слушал, сложив руки на животе, поглядывая на Есенина из-под своих мохнатых мужицких бровей. — Ну, как, Николай? — Хорошие стихи, Сережа, очень хорошие стихи! Вот если бы все эти стихи собрать в одну книжечку, да издать ее с золотым обрезом, она была бы настольной книжечкой у всех нежных барышень». (Стр. 164). Почти дословно то же и в воспоминаниях жены Г. Устинова — Е. Устиновой: «Днем, в 11-12 часов, в номере Есенина были Клюев, скульптор Мансуров и я. Мы сидели на кушетке и оживленно беседовали. Сергей Александрович познакомил меня с Клюевым: — Тетя, это мой учитель, мой старший брат!..» На другой день «разбирали вчерашний визит Клюева... ..Н. Клюев, прослушав накануне стихи Есенина, сказал: — Вот, Сереженька, хорошо, очень хорошо! Если бы их собрать в одну книжку, то она была бы настольной книгой для всех хороших, нежных девушек. — Есенин отнесся к этому пожеланию неодобрительно, бранил Клюева, но тут же, через пять минут, говорил, что любит его...» (Е. Устинова. Четыре дня Сергея Александровича Есенина. Сборн. «Серг. Ал. Есенин. Воспоминания», под ред. И. В. Евдокимова. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1926, стр. 91-92). Георгий Иванов, во вступительной статье «Есенин» к кн.: «Есенин. Стихотворения», изд. «Возрождение», Париж, 1951, — как всегда фантазируя, рассказывает о последней встрече поэтов: «Поздно вечером в день самоубийства Есенин неожиданно пришел именно к Клюеву. ...Вид Есенина был страшен. Перепугавшийся Клюев, по-стариковски лепеча — 'Уходи, уходи, Сереженька, я тебя боюсь'... — поспешил выпроводить своего друга в декабрьскую петербургскую ночь. От Клюева Есенин поехал прямо в отель 'Англетер'». (Стр. 9).
- ³¹⁵ Ленинградская «Красная Газета», вечерний выпуск, № 311, 28 декаб-

- ря 1926, без двух приключенных к поэме и завершающих ее стихотворений.
- ³¹⁶ А. Селивановский. Очерки по истории русской советской литературы. ГИХЛ, Москва, 1936, стр. 167. И позже: «Но навсегда уходила в прошлое патриархальная деревня, ее певцы остались без читателя. Ключевская архаика осталась чуждой новаторскому духу советской литературы». Так пишет А. Кулинич: «Новаторство и традиции в русской советской поэзии 20-х годов», изд. Киевского университета, 1967, стр. 75-76. Одновременно он причисляет к «новаторам» даже... Демьяна Бедного!..
- ³¹⁷ Ольга Форш. Сумасшедший Корабль. МЛС, Вашингтон, 1964, стр. 211-214. Р. Б. Гуль считает, что «из больших вещей поэта 'Плач о Есенине' лучшее, что создано Ключевым» (Р. Гуль. Ник. Ключев. Полн. собр. соч. в 2 тт. — рецензия. — «Новый Журнал», Нью Йорк, № 38, 1954, стр. 291).
- ³¹⁸ В. Полянский. Социальные корни русской поэзии XX века. В кн.: И. С. Ежов и Е. И. Шамурин. Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символистов до наших дней. Изд. «Новая Москва», 1925, стр. XV.
- ³¹⁹ И. С. Ежов. Революционная русская поэзия XX века. В той же антологии, стр. XI, III и XI, VI.
- ³²⁰ «Известия», № 147, 1 июля 1925. Курсив мой.
- ³²¹ Сборник правительственных сведений о раскольниках, составленный В. Кельсиевым. Вып. 4-й. Лондон, 1862, стр. 259-260.
- ³²² О. Бескин. Кулацкая литература. «Литературная Энциклопедия», изд. Комакадемии, Москва, т. 5, 1931, столб. 714. И еще позже, А. В. Кулинич, напр., пишет: «Ключев ненавидит город, машину, железо, их он считает злейшими врагами деревни ('Железо')». — «Новаторство и традиции в русской советской поэзии 20-х годов». Изд. Киевского университета, 1967, стр. 107.
- ³²³ Та же книга Кулинича, стр. 107.
- ³²⁴ Николай Брыкин. Стальной Мамай. Кн. 1. Изд. Писателей в Ленинграде, 1934, стр. 78-79.
- ³²⁵ Р. В. Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки. Изд. им. Чехова, Нью Йорк, 1953, стр. 270.
- ³²⁶ Л. Тимофеев. Ключев. «Литературная Энциклопедия», изд. Комакадемии, т. 5, Москва, 1931.
- ³²⁷ Аф. Милькин. Москва книжная. «Читатель и Писатель», Москва, № 32, 11 августа 1928.
- ³²⁸ «Читатель и Писатель», 1928, № 27.
- ³²⁹ Р. Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Нью Йорк, 1951, стр. 36.

- 330 Princesse Z. Schakovskoy. Ma Russie habillée en URSS. Editions B. Grasset, Paris, 1958, pp. 169, 251-253.
- 331 Р. Менский. Н. А. Клюев. «Новый Журнал», Нью Йорк, № 32, 1953, стр. 151-153.
- 332 История Коммунистической партии Советского Союза. Госполитиздат, 1959, стр. 417, 420, 420-421, 422, 416.
- 333 Р. Менский. Цитир. выше статья, стр. 150-151.
- 334 Этгоре Ло Гатто. Воспоминания о Клюеве. «Новый Журнал», Нью Йорк, № 35, 1953, стр. 128-129.
- 335 Р. Менский. Цитир. выше статья, стр. 153.
- 336 Анна Ахматова. Мандельштам. — Сочинения. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Т. 2. МЛС, 1968, стр. 180.
- 337 Б. Рест. Ленинградские журналы в новом году. «Литературная Газета», № 59, 29 декабря 1932.
- 338 Р. Менский. Цитир. статья, стр. 153.
- 339 По воспоминаниям Романа Менского (цитир. статья, стр. 153), хлопоты шли через Екатерину Павловну Пешкову.
- 340 См. цитир. статью Р. Менского, стр. 153.
- 341 Р. Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Нью Йорк, 1951, стр. 36-37.
- 342 Р. Менский. Цитир. статья, стр. 153-154.
- 343 Цитир. выше книга Р. Иванова-Разумника, стр. 37.
- 344 Там же, стр. 37.
- 345 Там же, стр. 37.
- 346 См., напр., в кн.: Сергей Есенин. Избранное. ГИХЛ, Москва, 1952 (под ред. П. Чагина). Но тоже, увы, и в безграмотном вообще эмигрантском издании стихотворений С. Есенина под ред. Г. Иванова, изд. «Возрождение», Париж, 1951.
- 347 П. Выходцев. Русская советская поэзия и народное творчество. Изд. Академии Наук СССР, Москва, 1963, стр. 175.
- 348 «Литературная Газета», № 32, 11 июля 1933.
- 349 Е. Усиевич. На переломе. «Литературная Газета», № 22, 11 мая 1933. В том же номере «Литературной Газеты», в пародийном «почти стенографическом отчете» — «Когда потребует поэта 'Литературная Газета'», Александр Архангельский изображает эту публичную покаянную речь Павла Васильева: «...Меня не погубили ни Есенин, ни Клюев, ни Клычков. Штаба мне в кулаках не оказаться, — ...прощай, родня!». Речь идет об оставшемся неопубликованном стихотворении П. Васильева «На Клюева и К^о», хранящемся (в рукописи) у вдовы поэта Е. А. Вяловой. См. Павел Васильев. Стихотворения и поэмы. Библиотека Поэта. Больш. серия. Изд. «Сов. Писатель», Ленинград, 1968, стр. 619.

³⁵⁰ Об этом см. мою статью «Погорельщина», во втором томе настоящего собрания сочинений Клюева. О «Погорельщине» также моя статья: «'Погорельщина' Николая Клюева», в сборн. «Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver». Roma, 1964, pp. 235-242.